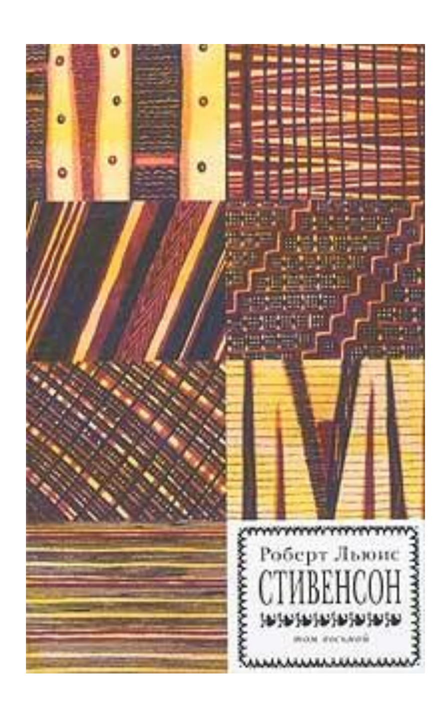
Стивенсон Роберт Льюис

Уир Гермистон



ВСТУПЛЕНИЕ

В краю холмистых вересковых пустошей, в стороне от больших дорог, вдали от людских жилищ, среди лиловых болот возвышается сложенный из камней могильный тур, а чуть к востоку от него и вниз по склону лежит надгробная плита с полустертой надписью. Здесь, внизу, Клейверхаус собственной рукой застрелил знаменитого Ткача-Богомольца из Болуири, и зубило «Старого Смертного» подновляло буквы на этом забытом надгробье. Народная история и семейное предание наложили две кровавые отметины на этот укромный уголок среди холмов; ибо вслед за тем, как два столетия назад здесь с доблестным безрассудством, не раздумывая и не сожалея, отдал свою жизнь сподвижник Камерона, молчание мхов еще однажды было нарушено треском выстрелов и предсмертным криком.

«Ведьмино Поле» — называлось это место встарь. Теперь его зовут «Могилой Фрэнки». Одно время поговаривали, будто Фрэнки не спится в земле. Как-то в сумерках, идучи мимо сложенных на могиле камней, его встретила Агги Хогг, и он заговорил с ней, только у него зубы стучали и нельзя было разобрать ни слова. В другой раз он будто бы с целых полмили гнался за Робом Тоддом (хотя, конечно, кто поверит Робби?) и о чем-то жалобно его просил. Но наш век отличается скептицизмом, суеверные украшения отпали одно за другим, и только голые разрозненные факты, словно наполовину обнажившиеся кости похороненного здесь великана, остались в памяти немногочисленных обитателей здешних мест. И по сию пору, зимними непогожими вечерами, когда мокрый снег лепится по стеклам и скотина загнана в хлева, звучит у очага, под молчание молодых с прибавлениями и поправками старых, рассказ о милорде верховном судье и его сыне, молодом Гермистоне, с которым неизвестно что потом сталось; о двух Кристинах и о Четырех Черных Братьях из Колдстейнслапа, и о Фрэнке Иннисе, «безрассудном молодом адвокате», приехавшем в эту глушь, чтобы здесь обрести свой конец.

ГЛАВА I. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИССИС УИР

Лорд верховный судья был в тех местах человек чужой; зато супругу его знали там с детства, как и всю ее родню до нее. «Спесивые Резерфорды из Гермистона», последним отпрыском которых она была, славились с давних времен как недобрые соседи, дурные подданные короля, плохие мужья своих жен, но, впрочем, хорошие хозяева своего имущества. Рассказы о них ходили по всей округе, и имя их даже упоминается на страницах нашей шотландской истории, хотя отнюдь не всегда в лестном свете. Один из них пал в сражении при Флоддене; другой был повешен Иаковом Пятым на воротах собственной четырехугольной сторожевой башни; третьего зарезали во время попойки с Томом Дэлиеллом, а четвертый (это был как раз родной отец Джин) умер на заседании «Клуба Адского Пламени», которого он был основателем и президентом. Многие тогда в Кроссмайкле качали головами, усматривая в этом суд божий, потому что последний Резерфорд пользовался очень дурной славой и у знати и у простого народа, равно среди беспутников и среди людей богобоязненных. Ко времени его кончины у него в суде было затеяно ровно десять тяжб, из них восемь заведомо несправедливых. Столь же трагический конец постиг и его приспешников: его управитель, правая его рука во многих левых делах, был однажды ночью сброшен лошадью и утонул в трясине на Коровьем болоте; и даже его поверенный (хотя у крючкотворов руки длинные, что позволяет им оставаться в тени) тоже ненадолго пережил его: у него лопнула жила и он умер скоропостижной смертью.

Но во всех поколениях, пока Резерфорды-мужчины скакали по холмам в окружении своих молодцов или буянили в кабаках, дома их всегда ждали жены с бескровными лицами, заточенные в четырех стенах сторожевой башни, а позже — помещичьего дома. Долго ждала своего часа эта линия мучениц, но под конец дождалась и восторжествовала в лице последней представительницы семьи — Джин Резерфорд. Она носила имя Резерфордов, но была наследницей их кротких жен. В ранней юности она была даже не лишена какой-то прелести. Соседи помнили ее ребенком, порой непослушным, как маленький эльф, с милыми капризами, с грустными минутными забавами; помнили и первый утренний проблеск красоты, так никогда и не воплотившейся. Она поблекла, не расцветя, и то ли за грехи отцов, то ли из-за горючих слез матерей, став взрослой, вся как-то сникла, стушевалась. Чуждая радостям и страстям, худосочная и вялая, она жила богомольной, робкой, чувствительной, слезливой и ни к чему не способной.

Для многих явилось неожиданностью, что она вышла замуж — у нее были все задатки старой девы.

Но случай привел ее встретить Адама Уира, в ту пору недавно назначенного лордом генеральным прокурором, человека нового, но уже завоевавшего признание, победно преодолевавшего любые препятствия, и вот теперь, уже на возрасте, обратившегося мыслями к женитьбе. Он был из тех, кто ищет в жене скорее покорности, чем красоты, и однако же Джин Резерфорд, очевидно, чем-то поразила его с первого взгляда. «Кто она? — спросил он у хозяина дома, а получив ответ, добавил: — Да, видно, что леди. Она напомнила мне… — и после паузы (которую кое-кто имел дерзость приписать вдруг всплывшим воспоминаниям сердечного свойства) справился: — А она набожна?» — вслед за чем по собственной просьбе был вскоре ей представлен. Это знакомство — «ухаживание» прозвучало бы здесь святотатством — велось с присущим мистеру Уиру усердием и долгое время служило источником легенд в кулуарах Эдинбургского парламента. Описывали, как он с розовым от щедрых послеобеденных возлияний лицом входил наконец в гостиную и устремлялся прямо туда, где сидела избранница его сердца, и заводил с ней шутливый разговор, а она сама не своя, в смятении едва лепетала в ответ: «Ах что вы, мистер Уир!», или «В самом деле, мистер Уир?», или «Как можно, мистер Уир?» Вечером, в канун того дня, когда состоялась помолвка, один человек, подойдя близко к нежной парочке, слышал, как дама невыразительно-вежливо

спросила: «Право, мистер Уир? Что же с ним было потом?» — на что последовал басовитый ответ кавалера: «Повешен, сударыня, повешен».

Что двигало им и что двигало ею, об этом гадали многие. Очевидно, мистер Уир считал, что ему нужна именно такая невеста; быть может, он принадлежал к тому разряду мужчин, которые полагают слабую голову украшением женщины — за что неизменно и расплачиваются в этой жизни. Родовитость и состояние невесты не оставляли желать лучшего. Разбойники-предки и сутяга-отец оставили Джин богатое наследство. Муж должен был получить круглый капитал и много акров земли, сулившие видное положение его потомкам, а также титул ему самому, когда наступит срок ему занять место в верховном суде.

А Джин, вероятно, влекло любопытство к этому неведомому созданию — мужчине, который подошел к ней с бесцеремонностью пахаря и апломбом адвоката. Будучи так разительно не похож на все, что она знала, любила и понимала, он, возможно, представлялся ей крайним воплощением, если не идеалом, своего пола. И, кроме того, он был не из тех людей, кому отказывают. Ко времени сватовства ему было уже за сорок, а на вид и того больше. К упорству мужества в нем добавлялся сенаторский авторитет почтенного возраста; он внушал страх, быть может, и не благоговейный, но неподдельный. Судьи, адвокаты и самые многоопытные из запирающихся свидетелей склонялись перед его волей — могла ли не склониться Джин Резерфорд?

Заблуждение относительно глупых женщин, как я уже сказал, всегда несет за собой кару, и лорд Гермистон принужден был расплачиваться с первых же дней. Его дом на Джордж-сквер велся из рук вон плохо — один только винный погреб оправдывал высокие затраты, да и то потому, что им занимался сам судья. Когда за обедом что-нибудь оказывалось неладно — а это случалось постоянно, — милорд подымал глаза от тарелки и говорил, глядя на жену: «Сдается, этому хлебову место в пруде, а не в суповой миске». Или же обращался к дворецкому «Вот что, Мак-Киллоп, унесите эту радикальную баранью ногу, пусть ее французы едят, а мне подать лягушачьи лапки. Куда это годится — целый день в суде вешаю радикалов, а дома должен оставаться без обеда?»

Это, разумеется, была лишь манера выражаться, — он ни разу в жизни не повесил человека только за то, что тот радикал, — ибо не таковы были предначертания закона, верным слугой которого он являлся. И, разумеется, говорилось это отчасти ради красного словца, но шутки такого мрачного свойства, произносимые его зычным басом и сопровождаемые особо грозным взором, заслужившим ему в Парламенте имя «Гермистона-Вешателя», порождали полное смятение в душе его жены. Безмолвная, трепещущая, сидела она перед ним, и с каждым новым блюдом, с каждым новым испытанием глаза ее испуганно поднимались к лицу милорда и снова опускались долу; если он молчал, но ел, она чувствовала невыразимое облегчение; если же он выражал недовольство, мир для нее одевался мраком. Потом она шла к поварихе, — а это всегда была ее сестра во господе — и говорила: «Ах, моя милая, как ужасно, что милорду не могут угодить в его собственном доме!» Она плакала и молилась вместе с поварихой, и повариха молилась вместе с миссис Уир; а на следующий день к столу подавались кушанья ничуть не лучше вчерашних: и новая повариха, сменявшая эту, бывала не лучше прежней, но не менее набожная.

Приходилось только удивляться, как лорд Гермистон все это сносил, однако он был чревоугодник стоического склада и довольствовался добрым вином, лишь бы его было побольше. Но случались минуты — с полдюжины раз за всю его женатую жизнь, — когда терпение его иссякало. «Эй! — гремел он, сопровождая свой возглас грозным жестом, — унесите это вон! И подать мне хлеба с сыром».

Никто из домочадцев не смел возразить или ослушаться; обед прерывался; миссис Уир во главе стола, не прячась, заливалась слезами; а его милость сидел против нее и, подчеркнуто не обращая ни на что внимания, жевал свой хлеб с сыром. Лишь однажды отважилась миссис Уир воззвать к нему после такой сцены. Он проходил мимо нее к себе в кабинет.

— Адам! — только промолвила она с трагическим рыданием в голосе и протянула к нему обе руки, в одной из которых был зажат насквозь вымокший носовой платок.

Он остановился, обратил к ней сверху вниз гневное лицо, и во взгляде его мелькнул огонек иронии.

— Вздор! — сказал он. — Все ваши вздорные выдумки. Что мне за прок от божеской прислуги? Божеский суп — вот что мне нужно. Подайте мне кухарку, которая умеет варить картошку в мундире, и по мне пусть она будет хоть уличной девкой!

И с этими словами, прозвучавшими как богохульство для ее нежного слуха, он прошел к себе в кабинет и захлопнул за собой дверь.

Таков был его дом на Джордж-сквер. Иначе обстояло дело в Гермистоне, где хозяйством заправляла Керсти Эллиот, сестра местного лэрда и дальняя родственница миссис Уир. Здесь царил порядок в доме, и был здоровый деревенский стол. Керсти была женщина, каких мало, — опрятная, толковая, хозяйственная; в молодости Прекрасная Елена вересковых пустошей, она и теперь оставалась хороша, как кровная лошадь, и свежа, как ветер с холмов. Пышная, румяная, громогласная, она вершила все домашние дела властной рукой, не скупившейся при случае и на оплеухи. Набожная она была лишь в той мере, в какой того требовала в те дни простая благопристойность, и это служило для миссис Уир предметом многих горьких дум и многих слезных молитв. В домоправительнице и госпоже повторились извечные Марфа и Мария; и Мария, правда, не без укоров совести, полагалась на сильную Марфу, как на каменную гору. Даже лорд Гермистон питал к Керсти особое уважение. Мало с кем еще он чувствовал себя так непринужденно, мало над кем так благосклонно и весело подтрунивал. «Мы с Керсти любим перекинуться шуточкой-другой», — заявлял он в самом приятном расположении духа, намазывая свежим маслом испеченные Керсти ячменные лепешки и дружелюбно посматривая на прислуживающую за столом домоправительницу. От этого знатока человеческих душ и дел, равнодушного к славе и людской любви, была сокрыта, может быть, только одна истина: он даже и не подозревал, что Керсти его ненавидит. Он-то считал, что как хозяин и служанка они с Керсти очень подходят друг к другу: оба здоровые, работящие, простые шотландцы, безо всяких вывертов и фокусов. Но на самом деле Керсти отдала всю преданность и любовь своей слезливой, худосочной хозяйке, сделав из нее себе божество и единственное дитя, и нередко, прислуживая милорду за столом, едва сдерживалась, чтобы не ударить его.

Таким образом, когда семья находилась в Гермистоне, здесь отдыхал душой не только милорд, но и миссис Уир тоже. Сложив с себя мучительное попечение о вечно незадававшихся обедах, она сидела над шитьем, читала душеспасительные книги и ходила на прогулки (ибо таков был приказ милорда) иногда одна, а иногда в обществе Арчи — единственного ребенка от этого почти противоестественного брака.

Сын стал для нее новым источником жизни. С ним расцветали ее заиндевевшие чувства, пробуждалось сердце, грудь глубоко вдыхала жизненные веяния. Чудо собственного материнства не переставало приводить ее в изумление. Вид держащегося за ее юбки маленького человечка пьянил ее ощущением собственной силы и леденил сознанием ответственности за него. Она заглядывала в будущее, представляла себе сына уже взрослым и играющим самые разные роли на подмостках мира, и у нее захватывало дух, и в то же время сердце исполнялось отваги. С ним одним могла она порой забыться и вести себя совершенно естественно; но как раз ради него она придумала для себя и упорно выдерживала особую линию поведения. Арчи должен был вырасти великим и добродетельным человеком, по возможности, служителем божиим и уж, во всяком случае, святым. Она стремилась увлечь его своими любимыми книгами, такими, как «Письма» Резерфорда или «Милость неизреченная» Скугала. Она завела обыкновение (как ни странно вспоминать об этом сейчас) уносить ребенка на Ведьмино Поле, усаживаться с ним на Камень Ткача-Богомольца и рассказывать ему там о мучениках-пресвитерианах до тех пор, покуда у них обоих из глаз не начинали катиться слезы.

Ее взгляд на историю был бесхитростен и прост: там все было либо бело, как снег, либо черно, как сажа; по одну сторону — кроткие праведники с псалмами на устах, по другую — гонители, кровожадные, в сапожищах, с багровыми от вина лицами; страждущий Христос и беснующийся Вельзевул. Слово «гонитель» жгло сердце бедной женщины; для нее оно знаменовало собой последнюю степень зла; и печать этого слова была на ее доме. Ее прапрадед поднял меч против помазанника божия на Ральонском поле и испустил дух, как гласит предание, на руках у злодея Дэлиелла. Не могла она закрыть глаза и на то, что, живи они с мужем в те стародавние времена, сам Гермистон, несомненно, оказался бы в стане кровавого Мак-Кензи и вероломных Лодердейла и Роутса — открытых врагов господа. Сознание это лишь придавало пыла ее рассуждениям: слово «гонитель» она произносила особым голосом, от которого кровь стыла в жилах маленького Арчи. Но однажды, когда они все вместе ехали в карете, их окружила толпа, крича и улюлюкая, и слышались возгласы: «Долой гонителя! Да сгинет Гермистон-Вешатель!» Маменька плакала, прикрыв лицо платком, а папаша опустил стекло и глядел на буянов с тем грозно-насмешливым выражением на лице, с каким, как говорили, он произносил смертные приговоры. Арчи тогда был слишком поражен, чтобы задавать вопросы, но едва только, приехав, он остался с матерью наедине, как пронзительный его голосок потребовал объяснения: почему они называли папашу гонителем?

— Что ты, что ты, мое сокровище! — воскликнула мать. — Что ты говоришь, мой дорогой! Ведь это все политика. Никогда не задавай маменьке вопросов о политике, Арчи. Твой папаша — большой, важный человек, и не нам с тобою судить его. Пусть бы все мы так же выполняли каждый свой долг, как выполняет твой папаша на своем высоком посту. Я не хочу больше слышать таких неподобающих, таких неуважительных вопросов! Ты, конечно, не хотел быть неуважительным, мой ягненочек, маменька знает, уж маменьке ли это не знать, мой любимый! — И так она соскользнула на безопасную тему, а на сердце у ребенка осталось смутное, но неизгладимое ощущение чего-то неладного.

Жизненную философию миссис Уир выражало одно понятие — нежность. По ее представлениям, вселенная, вся в отблесках адского пламени, была таким местом где хорошие люди должны пребывать в постоянном экстазе нежности. Твари и растения не имеют души, они живут в этом мире лишь один краткий миг, пусть же отпущенный им срок протечет без страданий. А что до бессмертных людей, то сколь многие из них движутся по черной тропе прямо в бездну, навстречу грозным ужасам своего бессмертия! «Птицы небесные не сеют, не жнут…», «Кто ударит тебя по правой щеке…», «Равно насылает господь дождь свой…», «Не судите, да и не судимы будете» — вот изречения, составлявшие ее евангелие; в них одевалась она, как в одежды, вставая по утрам, с ними, не расставаясь даже на ночь, ложилась вечером спать; они постоянно были у нее на устах, точно любимый мотив, пропитывали самый воздух вокруг, словно любимые духи.

Местный пастор был ученый проповедник, и милорд с удовольствием его слушал; но миссис Уир питала к нему почтение как бы издалека: пока раздавались раскаты его голоса, гремевшего, точно пушки осажденного города, где-то на крепостном валу догматизма, она тем временем пребывала, отгороженная от всех и вся, в цветнике своей собственной веры, обильно поливаемом слезами умиления. Как ни трудно в это поверить, но в груди этой бесцветной, ни к чему не приспособленной женщины пламенел огонь истовой веры; она могла бы стать гордостью и украшением какой-нибудь монашеской обители. Наверное, никто, кроме Арчи, не знал, что она умеет быть красноречивой; никто, кроме него, не видел ее раскрасневшейся, с крепко сжатыми перед грудью ладонями, всю светящуюся нежным жаром. Есть один поворот в аллеях Гермистонского парка, откуда внезапно открывается вид на Черную Вершину, которая иногда кажется простым, поросшим травою холмом, а в иные дни на закате горит алмазом

небесным (по собственному выражению миссис Уир). В такие вечера, завидев вдруг за поворотом золотой силуэт в небе, она крепче сжимала ручку мальчика, и голос ее начинал звенеть, как в песне. «Возвожу очи мои к горам!» — повторяла она. Или же восклицала: «О, Арчи, разве не похоже это на горы Неффалимские?» — И слезы ручьем катились у нее из глаз.

На впечатлительного ребенка этот непрестанный красивый аккомпанемент к жизни оказывал глубокое воздействие. Материнская набожность и смирение передались ему в полной мере, но если у нее они были врожденными свойствами души, у него они оставались внушенным уроком. Природная детская воинственность нет-нет да и прорывалась бунтом. Какой-то мальчишка из Поттер-роу однажды ударил его по лицу; он дал сдачи, после чего противники сразились по всем правилам на задворках у конюшен, и Арчи вернулся домой, явно не досчитываясь передних зубов и отнюдь не по-божески похваляясь потерями врага. То был горестный день для миссис Уир; она оплакивала и замаливала прегрешения сына до самого прихода милорда, когда ей вновь пришлось принять тот трепетно-сдержанный вид, с каким она всегда встречала супруга. Милорд, против обыкновения, не был в тот день рассеян и тотчас заметил утрату сыновних зубов.

— Арчи подрался с кем-то из уличных детей, — пояснила миссис Уир.

Голос милорда загремел, как редко случалось ему греметь в семейном кругу.

— Я этого не потерплю, сэр! — воскликнул он. — Ты слышишь? Я не допущу этого! Не потерплю, чтобы мой сын затевал потасовки с грязными оборванцами!

Встревоженная мать была даже благодарна ему за поддержку: втайне она опасалась обратного. В ту ночь, укладывая мальчика в кровать, она говорила:

— Вот видишь, мой миленький! Я ведь предупреждала тебя, что скажет твой отец, когда узнает, в какой тяжкий грех ты впал. Давай теперь мы с тобой вместе помолимся господу, чтобы он уберег тебя впредь от таких искушений или же дал силы им противостоять!

Но это усилие женского лицемерия пропало даром. Лед нельзя сковать с железом; и так же были несовместимы взгляды верховного судьи и миссис Уир.

Характер и положение отца уже давно служили для Арчи серьезным камнем преткновения, и с каждым годом сомнения его все возрастали. Отец почти всегда молчал; когда же он прерывал молчание, то говорил все только о делах мирских в мирском тоне, и часто в таких выражениях, которые ребенок приучен был считать грубыми, а порой употребляя слова, которые, как знал Арчи, произносить было грех. Нежность — это первый долг человека, а милорд был неизменно груб. Бог — это любовь, имя же милорда (для всех, кто его знал) было — страх. В мире, схему которого начертала перед ребенком мать, таким людям было уготовано определенное место. Ибо есть люди, которых следует жалеть и за которых полагается молиться (хоть это, очевидно, бесполезно); их называют «нечестивцы», «козлища», «враги господа», «погибшие души». Арчи перебрал все ярлыки и пришел к неизбежно напрашивавшемуся выводу, что лорд верховный судья — величайший из грешников.

Мать была с ним искренней, но не до конца. Существовало одно влияние в жизни, которого она боялась для своего дитяти и которому тайно противоборствовала, — влияние отца; и, отчасти не отдавая себе отчета, отчасти сознательно закрывая глаза на смысл своих действий она упорно подтачивала авторитет милорда в глазах его сына. Пока Арчи молчал, она действовала без угрызений, заботясь лишь о боге и о вечном спасении своего ребенка; но настал день, когда Арчи заговорил. Шел 1801 год, мальчику уже исполнилось семь лет, а любознательностью и умением логически рассуждать он значительно превосходил свой возраст; и вот тогда-то он задал матери вопрос открыто. Если судить других грешно и неправильно, как же так папаша — судья? Как же так он занимается греховным делом и носит титул, который есть название греха?

— Я этого не понимаю, — заключил маленький талмудист, качая головой.

В ответ ему мать произнесла немало общих слов.

— Нет, непонятно, — упорствовал Арчи. — И вот что я вам скажу, маменька, по-моему, мы с вами не должны оставаться с ним под одной крышей.

Тут в ней проснулось раскаяние; она вдруг поняла, что предавала своего мужа, повелителя и кормильца, которым — насколько ее вообще затрагивали дела мирские — по-своему даже гордилась. Она принялась пространно втолковывать сыну, какой великий и почитаемый человек его отец, как важно то, что он делает в этой юдоли горестей и неправды, как высок его пост, недоступный разумению малых сих. Но слишком прочно было здание, которое она возводила все эти годы. У Арчи уже был наготове ответ: разве не простым душам, не малым сим принадлежит царствие небесное? Разве величие и почет не пустые соблазны грешного мира? И потом, как же тогда толпа, которая осыпала их однажды бранью, когда они ехали в карете?

— Все это, может, и так, — заключил мальчик, — но, на мой взгляд, папаша не вправе быть судьей. И это еще не самое страшное, как я понимаю. Я слышал, что его называют «Судья-Вешатель», — как видно, он жесток. Вот что я вам скажу, маменька, мне на память приходит стих: для такого человека лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в глубочайшую пучину морскую!

— О, мое дитятко! Никогда не говори таких вещей! — причитала она. — Ты должен чтить отца своего и мать свою, мой миленький, чтобы продлились дни твои на этой земле. Ведь те, кто хулит его, — безбожники, безбожники французы, Арчи! Ведь не хочешь же ты быть заодно с безбожниками французами? О, это разбило бы мне сердце! И потом, Арчи, разве ты сейчас не берешь на себя право судить? Неужели ты забыл заповедь божью? Вспомни о сучке в чужом глазу, мой дорогой.

И только тут, перенеся военные действия во вражеские пределы, перепуганная женщина вздохнула спокойнее. Не подлежит сомнению, что ребенка довольно легко заговорить избитыми фразами, но много ли проку от такой победы — это еще вопрос. В глубине души ребенок чувствует, что это лишь увертки, и внутренний голос говорит ему, что они недостойны. Он как будто бы и соглашается, но про себя остается при собственном убеждении. Так даже в естественные, извечные взаимоотношения матери и дитяти просачивается яд лицемерия.

Когда в тот год закрылись заседания верховного суда и семья перебралась в деревню, в Гермистоне обратили внимание на то, как сильно сдала госпожа. Она то как бы теряла связь с внешней жизнью, то вновь ненадолго ее обретала, иной раз часами просиживая неподвижно в каком-то недоуменном оцепенении и вдруг пробуждаясь к лихорадочной, беспомощной деятельности. Обходила усадьбу, бессмысленно разглядывая девушек, занятых по хозяйству; ни с того ни с сего принималась рыться в старых шкафах и комодах и останавливалась, не доведя дела до половины; начинала о чем-нибудь оживленно говорить и тут же неизвестно почему замолкала. На лице у нее теперь постоянно сохранялось такое выражение, словно она запамятовала что-то важное и никак не может вспомнить; и перебирая никому больше не нужные, трогательные сувениры своей молодости, она как будто искала среди них ключ к этой загадке утерянных мыслей. В те дни она без конца делала подарки соседям и прислуге и, даря, не скрывала сожаления, чем вконец смущала одариваемых.

В последний вечер она так долго сидела над каким-то рукоделием и трудилась над ним с таким страдальческим старанием, что милорд, обычно не проявлявший любопытства, поинтересовался, что это она делает.

Она залилась краской.

— Это для вас, Адам, — едва вымолвила его супруга. — Комнатные туфли… Я… вам никогда не шила комнатных туфель.

— Вот глупая женщина! — буркнул его милость. — Хорош бы я был, если бы стал разгуливать в расшитых шлепанцах!

На следующий день, когда миссис Уир собралась на свою всегдашнюю прогулку, Керсти попробовала вмешаться. Служанка глубоко страдала от этого внезапного нездоровья госпожи, сердилась, бранила ее, уговаривала, как всегда, пряча под сварливыми нападками искреннюю тревогу своего любящего сердца. И вот настал день, когда она с деревенской бесцеремонностью потребовала, чтобы миссис Уир осталась дома. Но та ответила только: «Нет, нет. Так распорядился милорд», — и спустилась с крыльца. На полянке за домом копошился маленький Арчи, возводя из грязи какие-то свои детские сооружения; она постояла минутку, словно хотела позвать его с собой, потом передумала, вздохнула и, покачав головой, пошла своим обычным путем в одиночестве. Девушки, стиравшие белье в ручье, проводили глазами свою хозяйку, когда она, кое-как одетая, прошла мимо усталой, разбитой, ковыляющей походкой.

— Никудышная она у нас, — сказала ей вслед одна.

— Замолчи, — оборвала ее другая, — женщина больна, а ты…

— А по-моему, она всегда была такая, — возразила первая. — В девках растрепа, так и в бабушках недотепа.

А бедная женщина, предмет их спора, некоторое время бесцельно бродила по парку. Неведомые приливы и отливы в ее сознании носили ее туда-сюда, точно морскую траву по волнам. Она шла по одной дорожке, потом останавливалась, возвращалась, сворачивала на другую; куда-то устремлялась, тут же сама забывая, куда, окончательно утратив способность выбирать и придерживаться избранной цели. Но вдруг она словно вспомнила что-то и приняла важное решение: круто повернув, она заторопилась к дому и вошла в столовую, где Керсти хлопотала с уборкой, — вошла с нетерпеливым видом человека, которому нужно исполнить важное поручение.

— Керсти! — начала было она и сразу же запнулась; но потом убежденно проговорила: — Мистер Уир не благочестивый человек, но он был мне хорошим мужем.

То был, должно быть, первый случай с тех пор, как ее муж получил свой высокий сан, что она опустила почетный привесок к его имени, которым эта тихая женщина так непоследовательно гордилась. Керсти поглядела и поразилась перемене в ее лице.

— Бога ради, что с вами, сударыня? — воскликнула она, бросаясь к миссис Уир.

— Не знаю, — покачала головой ее госпожа. — Но он не благочестивый человек, моя милая.

— А ну-ка, садитесь вот сюда, скорее! Господи, да что же это с нею? — повторяла Керсти, насильно усаживая бедную женщину в кресло милорда, стоящее у камина.

— Боже мой, что это? — задыхаясь, проговорила миссис Уир. — Керсти, что это? Мне страшно.

То были ее последние слова.

Ночь спускалась на землю, когда милорд возвращался домой. За спиной у него полыхал закат — черные тучи на огненном фоне, а впереди у дороги его поджидала Керсти Эллиот. Лицо ее распухло от слез, и она обратилась к нему голосом громким и неестественным, заводя старинное варварское причитание, вроде тех, что еще и поныне в каких-то формах бытуют на вересковых холмах Шотландии.

— Господь да сжалится над тобою, Гермистон! Господь да укрепит тебя! Горе мне, что должна я приносить такие вести!

Он натянул поводья и, нагнувшись в седле, мрачно заглянул ей в лицо.

— Французы высадились? — был его первый вопрос.

— О господи! Одно у тебя на уме. Бог да укрепит тебя для горькой вести, бог да утешит тебя в горе!

— Кто-нибудь умер? — спросил его милость. — Не Арчи?

— Нет, слава тебе, господи! — в испуге ответила женщина более естественным тоном. — Нет, нет, от этого бог упас. Госпожа умерла, милорд; кончилась прямо у меня на глазах. Один разок вздохнула, и не стало ее, голубушки. Ах, моя добрая мисс Джинни, как хорошо я ее помню!

И снова щедро полился старинный шотландский плач, который с таким искусством и вдохновением от века исполняют простые землячки Керсти.

Лорд Гермистон застыл в седле, глядя на нее. Потом он овладел собой.

— Да, — проговорил он. — Это неожиданно. Но она с самого начала была женщиной хилой.

И он торопливой рысью тронул к дому, а Керсти быстро шагала за ним по пятам.

Почившую госпожу положили на кровать прямо в том платье, в котором она вернулась с прогулки. Она была незаметной в жизни, осталась невзрачной и в смерти — то, что видел сейчас перед собою ее муж, который смотрел на нее, заложив руки за могучую спину, было бесцветным воплощением незначительности.

— Она и я не были скроены друг для друга, — наконец произнес он. — Безмозглая была затея, этот брак. — Затем добавил с необычной для него мягкостью: — Бедная, бедная курица! — И внезапно обернувшись, спросил: — Где Арчи?

Керсти, как оказалось, заманила мальчика к себе в комнату и сунула ему кусок хлеба с вареньем.

— Ты, я погляжу, умеешь на своем поставить, — заметил судья, смерив домоправительницу долгим угрюмым взглядом. — Подумаешь, пожалуй, я мог бы сделать выбор и похуже — взять в жены сварливую Иезавель, вроде тебя!

— Кто сейчас думает о вас, Гермистон? — закричала на него оскорбленная женщина. — Мы думаем о той, кто уже избавилась от земных печалей. Могла ли она сделать выбор хуже, вот что ответьте-ка мне, Гермистон, ответьте перед ее телом, хладным, как сырая земля!

— Ну, есть такие, которым не угодишь, — сказал его милость.

ГЛАВА II. ОТЕЦ И СЫН

Лорд верховный судья был известен многим; Адама Уира, вероятно, не знал никто. Ему нечего было прятать от людей, не в чем было оправдываться — просто он безмолвно и полностью довольствовался самим собой; та часть человеческой природы, которая уходит в белый свет на добычу славы или любви (нередко покупая их за фальшивую монету), у него просто отсутствовала. Он не добивался, чтобы его любили, ему это было безразлично; сама мысль об этом была ему, наверно, незнакома. Он пользовался всеобщим уважением как юрист и всеобщей ненавистью как судья и с нескрываемым презрением относился к тем, кого превосходил, — к менее ученым юристам и менее ненавистным судьям. Во всем остальном его дела и дни являли полнейшее отсутствие каких бы то ни было признаков честолюбия; он жил механически, с безразличием, в котором было даже что-то величественное.

Своего маленького сына он видел мало. Во время многочисленных болезней его детства судья аккуратно справлялся о его здоровье и ежедневно навещал больного: входил в комнату с натужно веселым выражением на страшном лице, отпускал несколько неуместных шуток и тут же удалялся к несказанному облегчению ребенка. Один раз, когда выздоровление Арчи совпало с началом судебных вакаций, милорд в своей карете сам отвез мальчика в Гермистон, куда того обычно доставляли на поправку. По всей вероятности, в тот раз его больше, чем всегда, встревожило нездоровье сына, потому что это путешествие навсегда заняло в памяти Арчи особое место: за дорогу отец успел пересказать ему, с начала и до конца, с потрясающими подробностями, три настоящих дела об убийстве.

Арчи прошел обычный путь всех эдинбургских мальчиков: учился в школе, потом поступил в университет; и Гермистон все это время едва утруждал себя проявлением даже видимости

интереса к успехам сына в науках. Правда, каждый день после обеда мальчика по особому знаку приводили пред очи отца — он получал горсть орехов и стакан портвейна, который выпивал под сардоническим взглядом судьи. «Ну, сэр, что вы сегодня проходили по вашей книжке?» — саркастически спрашивал милорд и задавал сыну несколько вопросов на юридической латыни. Ребенку, только еще одолевавшему начала, Кордерия, Папиниан и Павел оказывались, естественно, не под силу. Но папаша ничего другого не помнил. Он не был суров с юным школяром, приобретя за годы судейства неисчерпаемый запас долготерпения, но не заботился ни скрыть, ни поудачнее выразить свое разочарование. «М-да, тебе еще многому предстоит выучиться», — мог небрежно заметить милорд, не подавляя зевка, и тут же снова погрузиться в свои мысли на все время, пока ребенка не уводили спать, а милорд, захватив графин и стакан, перебирался в задние покои, окна которых выходили на луга, и там сидел над своими делами далеко за полночь. В Эдинбургском суде не было человека осведомленнее, чем он; его профессиональная память вызывала изумление; если приходилось высказываться по какому-то делу без предварительной подготовки, никто не мог сделать это основательнее, чем он, и, однако, никто тщательнее его не готовился к слушанию. Нет сомнения, что, засиживаясь так до глубокой ночи или задумываясь за столом и забывая о присутствии сына, его милость вкушал от тайных радостей, недоступных простым смертным. Отдаваться всем существом одному интеллектуальному занятию — это и значит достичь успеха в жизни; но, пожалуй, только в юриспруденции и высшей математике такая поглощенность может длиться всю жизнь, не принося поздних сожалений, и в самой себе находить постоянную несуетную награду. Эта атмосфера отцовского самозабвенного трудолюбия была для Арчи лучшей школой. Правда, она не прельщала его, даже, наоборот, отталкивала и угнетала. Все это так. Тем не менее она присутствовала, неприметная, как тиканье часов, и суровый идеал делал свое дело, подобно безвкусному, но ежедневно принимаемому укрепляющему средству.

Но Гермистон все же не был целиком предан одной страсти. Он еще отличался приверженностью к вину; он просиживал за графином до зари и прямо из-за стола отправлялся в суд, сохраняя ясную голову и твердую руку. После третьей бутылки в нем начинали отчетливо проступать плебейские черты; резче делался простонародный выговор; грубее — тупые простонародные шутки; он становился гораздо менее грозным и неизмеримо более отвратительным. Мальчик же унаследовал от Джин Резерфорд болезненную брезгливость, странно сочетавшуюся с безудержной вспыльчивостью. На школьном дворе в кругу товарищей детских игр он кулаками расплачивался за грубое слово; за отцовским столом (когда подошло ему время присутствовать на этих попойках) он бледнел от омерзения и молчал. Изо всех гостей отца только один не был ему отвратителен — Дэвид Кийт Карнеги, лорд Гленалмонд. Лорд Гленалмонд был высок и худощав, имел длинное лицо и длинные, тонкие кисти рук; говорили, что он похож на статую Форбса, героя Куллоденской битвы, установленную в здании Парламента. В глубине его синих глаз и на седьмом десятке не погас молодой огонь. Разительно отличаясь от всех присутствующих за столом, он казался артистом и аристократом, попавшим по недоразумению в грубое общество, и это привлекло к нему внимание мальчика; а так как интерес и любопытство — два чувства безотказнее и быстрее всего вознаграждаемые в этом мире взаимностью, лорд Гленалмонд тоже заинтересовался мальчиком.

— Так это ваш сын, Гермистон? — спросил он, кладя ладонь на плечо Арчи. — Он уже совсем взрослый юноша.

— Тю! — отозвался утонченный родитель. — Весь в маменьку: боится слово сказать.

Но гость удержал мальчика подле себя, побеседовал с ним, обнаружил в нем вкус к изящной словесности и чистую, пламенную, застенчивую юношескую душу, и по его приглашению Арчи стал каждое воскресенье навещать его в его голой, холодной и мрачной

гостиной, где вечерами старый лорд предавался чтению в изысканном холостяцком одиночестве. Доброта, изящество и утонченность всего облика старого судьи, его мыслей и речей находили отклик в сердце Арчи. Ему захотелось вырасти таким же; и когда настал час выбирать профессию, пример лорда Гленалмонда, а вовсе не лорда Гермистона привел его на юридический факультет. Гермистон втайне гордился этой дружбой, но отзывался о ней весьма презрительно. Он не упускал повода поддеть их насмешливым словцом, и это, по правде сказать, было ему вовсе не трудно, потому что ни Арчи, ни его престарелый друг не умели парировать его нападок. Ядовитые насмешки над всеми этими никчемными бездельниками и неучами — поэтами, художниками, музыкантами и их поклонниками — постоянно были у него на устах. «Ах, синьор Тру-ля-ля, — это было его любимое выражение. — Бога ради, избавьте нас от синьора!»

— Вы ведь большие друзья с моим отцом, правда? — спросил однажды Арчи лорда Гленалмонда.

— Я никого так искренне и глубоко не уважаю, Арчи, — ответил тот. — Он вдвойне заслуживает почтения: как превосходный юрист и как кристальной честности человек.

— Вы и он такие разные, — продолжал мальчик, глядя в глаза старому судье с такой же страстностью, с какой глядится любовник в глаза своей возлюбленной.

— Это верно, — отозвался судья. — Мы очень разные. Боюсь, что и вы с ним тоже разные. Но мне было бы грустно, если бы мой юный друг судил несправедливо о своем отце. Он обладает всеми достоинствами римлянина — такими же были Катон и Брут. Мне думается, имея такого отца, уже можно гордиться своей родословной.

— О, я предпочел бы, чтоб он был простым пастухом с пледом на плечах! — с неожиданной горечью воскликнул Арчи.

— А это сказано весьма неразумно и к тому же, я полагаю, не вполне искренне, — возразил Гленалмонд. — О таких словах потом неизменно вспоминаешь с раскаянием. Это всего лишь книжная эффектная фраза, она отнюдь не точно выражает ваши мысли, да и самые ваши мысли не продуманы вами до конца, и ваш отец, окажись он сейчас здесь, без сомнения, сказал бы по этому поводу: «Синьор Тру-ля-ля!»

С того дня Арчи, по-юношески болезненно чувствительный, избегал разговоров на эту тему. И, быть может, напрасно. Дай он себе волю выговориться, выразить в словах все, что было у него на сердце, как это свойственно и необходимо юности, и об Уирах из Гермистона, пожалуй, нечего было бы писать. Но даже слабого намека на опасность попасть в смешное положение оказалось вполне достаточно; в мягкой укоризне, какой прозвучали слова его друга, он прочел запрет, и не исключено, что прочел правильно.

Помимо старого судьи, у мальчика не было ни друзей, ни просто приятелей. Серьезный и пылкий, он прошел школу и колледж, огражденный от толпы равнодушных стеной своей застенчивости. Он вырос красивым юношей с открытым, выразительным лицом, с изящными, живыми манерами; был умен, получал награды, блистал в студенческом Дискуссионном клубе. Казалось бы, вокруг такого юноши должны были толпиться многочисленные друзья; но что-то в нем — отчасти материнская чувствительность, отчасти отцовская суровость — удерживало его в стороне от товарищей. Знаменательно, хотя и странно, что в глазах сверстников Арчи был сын своего отца-судьи Гермистона. «Вы ведь приятель Арчи Уира?» — спросили как-то у Фрэнка Инниса; и Иннис ответил со свойственным ему остроумием и несвойственной ему глубиной проникновения: «Я знаком с Уиром, но не знаю никакого Арчи». Арчи не знал никто — симптом болезни, нередко поражающей единственных сыновей. Он плавал под собственным, никому не ведомым флагом. Из мира, в котором он жил, была изгнана всякая надежда на душевное человеческое участие, и он взирал вокруг на своих товарищей-студентов, равно как и в будущее, на череду однообразных дней и неинтересных знакомств, без надежды и любопытства.

Но с течением времени бесчувственный и закоснелый старый грешник стал испытывать к сыну чресл своих и единственному продолжателю рода душевное тяготение и нежность, в которые сам с трудом мог поверить и уж, разумеется, никак не в состоянии был выразить. Радамант, за сорок лет привыкнувший лицом, голосом, жестом внушать ужас и отвращение, возможно, и велик, но едва ли способен вызвать к себе любовь. Он, правда, делал попытки расположить к себе Арчи, но к ним не следует относиться насмешливо — они были неназойливы, а неудачи, которыми они кончались, переносились поистине стоически. Таким железным, несгибаемым натурам не приходится рассчитывать на сочувствие. И судья, так и не добившись дружбы сына, ни даже простого его доброжелательства, продолжал торжественное восхождение по голым широким ступеням своего долга, не находя привета, но не ведая колебаний. Что ж, его отношения с Арчи могли бы приносить ему больше радости, в этом он, вероятно, иногда отдавал себе отчет; но радость — всего лишь побочный продукт сложной химии жизни, на нее рассчитывают только дураки.

Что думал по этому поводу Арчи, нам, кто давно уже стал взрослым и забыл свою молодость, представить себе несколько труднее. Он никогда и ни в чем не попробовал понять человека, с которым встречался за завтраком и обедом. Скупость на страдания и жадность на удовольствия — таковы два полюса юности; и Арчи принадлежал к скупым. Стоило откуда-то повеять холодом — он поворачивался спиной, стараясь как можно меньше подвергаться пронизывающему ветру. Он избегал отцовского общества; в присутствии отца предпочитал смотреть в сторону, насколько позволяли приличия. День за днем, месяц за месяцем освещала лампа эту пару за столом — милорда, багроволицего, угрюмого, презрительного, и Арчи, неизменно мрачневшего и как бы тускневшего в отцовском присутствии; и не было, наверное, во всем мире более чужих друг другу людей. Отец с величавым простодушием либо говорил о том, что было интересно ему самому, либо спокойно молчал. А сын лихорадочно выискивал какую-нибудь безопасную тему для застольной беседы, которая не грозила бы лишний раз обнаружить душевную грубость милорда или его благодушное бессердечие, и вел разговор боязливо, с осторожностью дамы, идущей, подобрав юбки, по узкой тропе. Если он все же оступался и милорд начинал произносить речи, терзавшие его чувствительность, Арчи, выпрямившись на стуле и насупившись, почти совсем замолкал, но милорд, не смущаясь, продолжал выставлять напоказ свои худшие качества перед безмолвствующим, негодующим сыном.

— Что верно, то верно, негодное то сердце, что не знает веселья, — заключал обычно милорд свои невыносимые излияния. — Однако мне пора снова становиться к плугу.

И он уходил и, как повелось, замыкался у себя в задних покоях, между тем как Арчи устремлялся в вечерний город, весь трепеща от ненависти и презрения.

ГЛАВА III. КОЕ-ЧТО О ТОМ, КАК БЫЛ ПОВЕШЕН ДУНКАН ДЖОПП

Однажды — дело было в 1813 году — Арчи забрел на заседание Уголовного суда. Служитель с булавой провел и усадил сына судьи, председательствовавшего на процессе. За деревянной загородкой скамьи подсудимых серело лицо жалкого и гнусного негодяя Дункана Джоппа, которому грозил смертный приговор. Вся его жизнь, разгребаемая сейчас на людях, была позор, порок и трусливое малодушие; перед людьми открывалась вся подлая нагота преступления. И этот жалкий человек слушал и даже по временам как будто бы понимал — словно иногда он забывал, в каком ужасном месте находится, и помнил лишь свой позор, его в это место приведший. Голова его оставалась опущенной, руки сжимали край деревянного барьера; волосы свисали ему на глаза, и время от времени он откидывал их назад. Он то вдруг оглядывался на публику, охваченный жестоким страхом, то смотрел прямо в лицо своему судье и нервно глотал слюну. На горле у него был повязан грязный лоскут фланели; и эта тряпица перетянула в душе Арчи ту чашу весов, на которую была брошена жалость в противовес отвращению. Стоявший перед ним был на самом пороге небытия; пока еще это человек, способный видеть и воспринимать; но еще немного времени, и, сыграв свою краткую роль в

уродливом последнем спектакле, он перестанет существовать. А он, между тем, с такой естественной человеческой непоследовательностью, от которой сжималось сердце, кутал свое простуженное горло.

Прямо против Арчи в кресле с высокой спинкой, облаченный в судейский пурпур, с неподвижным лицом в белой раме парика, восседал милорд Гермистон. Воплощенная честность, он даже не считал нужным изображать беспристрастие, которое было бы тут только маской: перед ним, как сказал бы он сам, сидел человек, заслуживающий виселицы, вот он и отправлял его на виселицу. И нельзя было не видеть, что делал он это со вкусом. Чувствовалось, что он получает удовольствие, применяя свои отточенные способности, что он любуется собственным зорким взглядом, без труда проникающим в самую суть факта, и доволен каждой своей грубой, издевательской репликой, камня на камне не оставляющей от жалких потуг защиты. Он шутил, внося под мрачные своды закона что-то от кабацкого веселья. И подсудимый, жалкое отребье рода человеческого, с фланелевым лоскутом на шее, был загнан на эшафот под глумливое улюлюканье.

У Дункана была любовница, существо едва ли не более жалкое и значительно старшее, чем он. Хныча и почтительно приседая, она вышла на свидетельское место, чтобы еще добавить к бремени улик груз своего предательства. Гулким басом милорд произнес слова присяги, которые ей полагалось повторить, и добавил с презрительной угрозой:

— Думай, что будешь говорить, Джэнет. Меня не проведешь, со мною шутки плохи.

Когда же она срывающимся голосом уже вела свой рассказ, его милость прервал ее вопросом:

— Почему же ты так поступила, а, старая карга? Уж не должен ли я понимать тебя так, что ты была любовницей обвиняемого?

— Да, с соизволения вашей милости, — плачущим голосом подтвердила женщина.

— Нечего сказать, хорошенькая парочка! — заметил милорд; и в его презрении прозвучала такая беспощадная жестокость, что даже на галерее не раздалось ни смешка.

Заключительная речь судьи тоже содержала несколько перлов.

— Это отребье держалось друг друга, а уж почему, не нам судить, — говорил лорд верховный судья. И еще: — Обвиняемый, который, помимо всего прочего, уродлив и духом и телом… — Или: — Ни у самого подсудимого, ни у этой старой барышни не хватило ума даже солгать в нужную минуту.

А вынося приговор, судья сделал попутно такое замечание:

— Я с божьей помощью отправил на виселицу немало народу, но такого мерзавца, как ты, мне еще вешать не приходилось.

Слова эти были резки сами по себе, а интонация и чувство, с которыми они были произнесены, и дьявольское удовольствие, испытываемое говорившим, оставляли неизгладимое впечатление.

Когда все было кончено и Арчи вышел из суда, мир вокруг него неузнаваемо изменился. Будь в преступлении Джоппа хоть немного искупающего величия, будь в деле хоть какая-то неясность, неопределенность, он, быть может, еще понял бы. Но преступник со своим обвязанным горлом стоял перед всеми в поту смертного страха, не имея ни единого оправдания и никакой надежды, — зрелище, которое стыд велит закрывать от людей, создание, павшее так низко, что жалость к нему не могла быть опасной. А судья терзал его с таким невообразимо жутким злорадством, какое могло привидеться только в страшном сне. Одно дело — поразить копьем тигра, другое — раздавить каблуком жабу: даже на бойне существует своя эстетика, и мерзость Дункана Джоппа распространилась, как зараза, на его судью.

С невнятным возгласом махнув рукой, Арчи прошел мимо кучки своих товарищей-студентов и зашагал по Хай-стрит. Словно во сне, взглянул он на древние стены Холируда, и

картины романтического прошлого всплыли перед ним, тут же потускнев: красочные повести былого, образы королевы Марии и принца Чарли, и белоголовый олень, и блеск, и преступления, бархат и железо минувшей эпохи; застонав, он прогнал их от себя. На Охотничьем лугу он повалился ничком в траву, и небеса были черны над ним, и прикосновение каждой былинки жгло. «И это мой отец! — стонал он. — От него получил я жизнь; плоть на этих костях от него, и за хлеб, вскормивший меня, заплачено этими ужасами». Он вспоминал мать, лбом прижимаясь к сырой земле. Он думал о бегстве, но куда было ему бежать? Думал о другой, лучшей жизни, но могла ли быть такая жизнь в этом обиталище диких и злобных гиен?

Время до казни прошло, как в кошмаре. Он встретился с отцом, но не смотрел на него, не мог с ним разговаривать. Казалось, не было человека, от которого хоть на мгновение могли бы укрыться эти признаки горячей вражды, но верховный судья был слишком толстокож, чтобы что-нибудь почувствовать. Будь милорд в этот день разговорчив, перемирие не могло бы сохраниться; но, по счастью, он пребывал в угрюмо-молчаливом настроении, и Арчи безмолвно вынашивал замысел бунта прямо под жерлами пушек флагманского фрегата. С высоты его девятнадцати лет ему представлялось, что он от рождения отмечен для некоего небывалого подвига, что ему назначено восстановить низвергнутую Добродетель на ее троне и прогнать с него Дьявола, рогатого узурпатора с раздвоенным копытом. Прельстительные якобинские идеи, которые он раньше всегда опровергал на диспутах в Дискуссионном клубе, вдруг заполонили его душу, и, куда бы он ни шел, казалось ему, всюду вокруг него смыкалось почти осязаемое кольцо новых понятий и нового долга.

В назначенное утро Арчи был на месте предстоящей казни. Он видел глумливую чернь, видел, как осужденный дрожа поднимался на эшафот. Он наблюдал за пародией на молитву, лишившей несчастного последних остатков мужества. Затем наступил жестокий миг самого уничтожения, и тело задергалось под перекладиной, точно сломанная игрушка-дергунчик. Арчи был готов к самому ужасному, но не к этой трагической пошлости. Мгновение он стоял молча, а потом на всю площадь раздалось: «Здесь свершилось безбожное убийство!» — И его отец, отвергнув, конечно, смысл этих слов, мог бы признать своим громовой голос, их произнесший.

Фрэнк Иннис насильно увел его с площади. Эти два красивых юноши вместе проходили курс наук и вместе появлялись всюду, испытывая род взаимной симпатии, основанной главным образом на том, что наружностью нравились друг другу. Настоящей близости между ними никогда не было; Фрэнк был натура мелкая и насмешливая, ни возбуждать, ни испытывать истинных дружеских чувств он не умел; так что отношения между молодыми людьми оставались чисто внешними: их объединяли только общие занятия да общий круг знакомств, дававший пищу для шутливой болтовни. Тем более чести Фрэнку, что он испугался за Арчи, заметив его состояние, и решил до вечера не отпускать его от себя или хотя бы следить за ним. Но Арчи, только что бросивший вызов — богу, сатане? — не пожелал и слушать товарища.

— Я не пойду с вами, сэр, — сказал он Фрэнку. — Ваше общество мне сейчас нежелательно; я хочу остаться один.

— Брось, Уир, право же, не будь смешным! — настаивал Иннис, не выпуская его рукава. — Не могу же я тебя отпустить, пока не буду точно знать, что ты задумал сделать. А вот это уж и совсем напрасно, — когда Арчи сделал внезапное воинственное движение. — Вышло бог знает что, ты же сам понимаешь. И ты отлично знаешь, что я выполняю роль доброго самаритянина. Единственное, чего я добиваюсь, — это чтобы ты успокоился.

— Если все, что тебе нужно, Иннис, — это спокойствие, — ответил Арчи, — и ты обещаешь избавить меня от своей опеки, я готов сообщить тебе, что намерен отправиться на прогулку за город любоваться красотами ландшафта.

— Честное слово?

— У меня нет привычки лгать, мистер Иннис, — отвечал Арчи. — Имею честь пожелать вам всего наилучшего.

— А ты не забыл про заседание? — спросил Иннис.

— Про заседание? — повторил Арчи. — О, нет, я про заседание не забыл.

И молодой человек унес свой страждущий дух за городские пределы и целый день бродил по проселкам и тропам в бесцельном паломничестве душевной боли; в то время как друг его с ухмылкой на устах поспешил распространить известие о внезапном умопомрачении Уира и созвать как можно больше народу на очередной диспут в Дискуссионном клубе, на котором — вот увидите! — наверняка произойдут дальнейшие забавные события. Вряд ли сам Иннис верил в собственное предсказание; я полагаю, что он хотел лишь возбудить своим рассказом как можно больше разговоров — не из вражды к Арчи, а просто ради удовольствия видеть вокруг себя заинтересованные лица. Но как бы то ни было, слова его оказались пророческими. Арчи не забыл про заседание клуба; он появился там в назначенный час и еще до окончания вечера глубоко ошеломил своих товарищей, надолго запомнивших этот случай. Была как раз его очередь председательствовать на диспуте. Они собрались в той самой комнате, где и сегодня происходят заседания Дискуссионного клуба, только портретов там еще не было, ибо те, с кого их потом написали, в те годы только начинали свою деятельность. Та же люстра с множеством свечей проливала свет на головы присутствующих; быть может, даже стул под ним был тот же самый, на котором с тех пор сидели столь многие из нас. По временам председатель, казалось, забывал, о чем идет спор, но и в эти минуты лицо его хранило выражение решимости и энергии. Потом, как бы очнувшись, он начинал вмешиваться в прения, вставлял ядовитые реплики и налагал направо и налево штрафы, пуская в ход тяжелую артиллерию, к которой обычно так редко и скупо прибегают у нас председательствующие. Ему и невдомек было, как походил он при этом на своего отца, но товарищи видели это сходство и посмеивались. Возвышаясь в кресле надо всеми присутствующими, он казался недосягаемым для всякой угрозы скандала; но решение уже было принято: он намеревался замкнуть круг своего вызова. Сделав знак Иннису (который только что был им подвергнут штрафу и пытался оспорить решение председателя), чтобы тот сел на его место, Арчи Уир спустился с возвышения и подошел к камину, где яркий свет свечей падал сверху на его бледное лицо, а огонь сзади одевал красным ореолом его тонкую фигуру. Он внес дополнительное предложение — обсудить вместо следующей темы, значившейся в списке, вопрос о том: «Совместима ли смертная казнь с божьими заповедями и с благом человека?»

В зале возникло замешательство, почти переполох, так дерзко прозвучали эти слова в устах единственного сына судьи Гермистона. Предложение Арчи не получило поддержки, в противовес была выдвинута прежняя тема, принята единогласно, и скандал, казалось бы, замяли. Но Иннис торжествовал: его пророчество оправдалось. Наряду с Арчи он стал героем вечера; вокруг него, когда заседание окончилось, толпились чуть не все, кто там был, а к Арчи подошел только один человек.

— Уир, дружище! — сказал этот храбрый член Дискуссионного клуба, дружески беря его под руку. — Это была смелая вылазка!

— Это не вылазка, — мрачно отозвался Арчи, — а скорее целая война. Я видел сегодня утром, как был повешен этот несчастный, и до сих пор испытываю омерзение.

— Гм-гм, — произнес его собеседник, сразу, словно обжегшись, выпустил его руку и поспешил к тем, с кем ему было проще.

Арчи остался один. Последний из верных — или это был просто храбрейший из любопытных? — покинул его. Он смотрел, как черная толпа студентов распадалась на группки, которые, шепчась или крича, расходились по улице в разные стороны. И оторванность от других в эту минуту угнетала его как знамение и символ всего его будущего. Взращенный в атмосфере непрерывного страха, среди трепещущих слуг и домочадцев, в четырех стенах,

которые при первом грозном звуке хозяйского голоса сами замирали и погружались в безмолвие, он вдруг очутился над красной пропастью войны и с ужасом увидел, как она глубока и опасна. Побродив по тускло освещенным улицам, он сделал круг и вышел к отчему дому сзади. Здесь, на задворках, он долго стоял и смотрел на освещенное окно, за которым был кабинет отца. И чем дольше он смотрел, тем неяснее становился в уме его образ человека, который сидел там, за шторами, неутомимо листая страницы судебных процессов и отрываясь только затем, чтобы выпить глоток портвейна, или вставал из-за стола и тяжело шел вдоль книжных полок, чтобы достать нужный том и проверить какую-то ссылку. Неужели жестокий судья и этот трудолюбивый, бесстрастный книжник — одно и то же лицо? Связующее звено между ними ускользало от Арчи; немыслимо было предвидеть поступки такой двойственной натуры; он уже спрашивал себя, разумно ли было ему начинать то, что совершенно неизвестно еще как кончится; и наконец, принося неуверенность, пришла мысль: а не совершает ли он предательства по отношению к родному отцу? Ибо он дважды предал его — дважды бросил ему вызов в присутствии неисчислимых свидетелей, открыто нанес ему удар на глазах у толпы. Кто дал ему право судить отца в делах столь сложных и значительных? Никто. Такая роль еще, быть может, подобает человеку чужому, но в родном сыне — никуда не денешься! — это предательство. И теперь можно было ожидать последствий самых неожиданных, ведь один только бог может предсказать, как именно отнесется к непростительному проступку сына лорд Гермистон, этот человек с двумя такими разными, такими несовместимыми характерами.

Эти и подобные им опасения мучили Арчи всю ночь и не оставили его и тогда, когда он поднялся пасмурным зимним утром; они сопровождали его из аудитории в аудиторию, обостряли его чувствительность к любым переменам в обращении товарищей, звучали, заглушая голоса профессоров, и вечером вместе с ним возвратились домой не усмиренные, а даже еще возросшие. Причиной тому была случайная встреча со знаменитым доктором Грегори. Арчи в задумчивости стоял у освещенного окна книжной лавки, напрасно ища в себе мужества для предстоящего объяснения с отцом. Утром (как это уже повелось между ними давно) они встретились и разошлись, едва обменявшись приветствиями; было очевидно, что милорд еще ни о чем не слыхал. При мысли о грозном лике верховного судьи у его сына возникала даже робкая надежда, что вообще не найдется храбреца, который рискнул бы передать ему чьи-то пересуды. А если так, спрашивал себя Арчи, способен ли он будет выступить снова? Он спрашивал себя и не находил ответа. И как раз в эту минуту на плечо ему вдруг легла рука и кто-то негромко проговорил у самого его уха: «Любезный мистер Арчи, вам следует зайти ко мне».

Он вздрогнул, обернулся и оказался лицом к лицу с доктором Грегори.

— Почему я должен к вам заходить? — спросил Арчи с вызовом отчаяния.

— Потому что у вас очень больной вид, — ответил доктор, — и совершенно очевидно, что вы нуждаетесь в помощи, мой юный друг. Хороших людей, как вам известно, на свете немного, и не всякого было бы так жаль потерять, как вас. Не о всяком пожалеет сам лорд Гермистон.

Доктор с улыбкой кивнул и пошел дальше.

В следующее мгновение Арчи нагнал его и, в свою очередь, хотя и гораздо грубее, ухватил за локоть.

— О чем это вы? О чем вы говорили? Почему вы думаете, что лорд Гермистон… что мой отец пожалел бы обо мне?

Доктор повернулся к нему и оглядел его с ног до головы с профессиональным интересом. И гораздо более тупой человек, чем доктор Грегори, догадался бы, в чем дело; но девяносто девять человек из ста, будь даже они все такими же добрыми, как он, обязательно бы все испортили каким-нибудь бестактным благожелательным преувеличением. Доктор поступил правильнее. Он хорошо знал отца. По этому страдальчески бледному, умному лицу он мог

составить себе представление и о сыне. И без прикрас и обиняков рассказал ему чистую правду.

— Когда у вас была корь, мистер Арчибальд, вы болели очень тяжело, я думал, что вы так и уплывете у меня между пальцев, — начал он. — Так вот, ваш отец тогда был полон тревоги за вас. Откуда я знаю, спросите вы? Да просто у меня наметанный глаз. Знак, который я увидел, десять тысяч других людей не заметили бы; и возможно — я говорю: возможно, потому что ваш отец не выказывает свои чувства, — возможно, что это был единственный знак. Вот как было дело. Однажды я вошел к нему и сказал: «Гермистон, в состоянии ребенка произошла перемена». Он не произнес ни звука, только посмотрел на меня, как дикий зверь, если вы простите мне такое сравнение. «Перемена к лучшему», — добавил я. И отчетливо услышал, как он перевел дух.

Не дав впечатлению рассеяться, доктор наклонил голову в допотопной треуголке, с которой он не желал расставаться, повторил, подняв брови: «Отчетливо» — и удалился, оставив Арчи в полной растерянности.

Случай, рассказанный доктором Грегори, можно счесть совершенно ничтожным, и, однако же, для Арчи он был исполнен значения. «Кто бы мог подумать, что в старике так много крови?» Он никогда не представлял себе, что его знаменитый родитель, этот живой реликт, этот несокрушимый столп общества, имел сердце, способное хоть сколько-нибудь сжиматься из-за кого-то, — и что этот кто-то — он сам, сознательно его оскорбивший! С безоглядным увлечением юности Арчи в тот же миг переметнулся в противный стан. Он уже рисовал себе совершенно новый облик судьи Гермистона, облик человека, который снаружи — сплошное железо и сплошная чувствительность — внутри. Грубое, низменное веселье, язвительный язык, недостойно глумившийся над Дунканом Джоппом, нелюбимое, хмурое лицо, всю жизнь внушавшее ему только страх, — все было забыто. И Арчи в нетерпении поспешил домой, чтобы поскорее исповедаться в своих прегрешениях и отдаться на милость этого вымышленного персонажа.

Безжалостное пробуждение не заставило себя ждать. Сгущались сумерки, когда он возвратился домой и, оглянувшись на пороге, увидел, что с другой стороны к дому подходит отец. День еще не окончательно погас, но из приоткрытой двери лился яркий желтый свет лампы, заливая Арчи, который остановился у порога, дабы, по старинному обычаю, почтительно пропустить отца вперед. Судья приближался, не торопясь, важной, твердой походкой, выпятив подбородок, и свет упал на его каменное лицо с крепко сжатым ртом. Ни единая черта в нем не дрогнула. Глядя прямо перед собой, судья поднялся по ступеням крыльца, чуть не задев Арчи, переступил порог и вошел в дом. Вначале, завидев отца, Арчи сделал было безотчетное движение ему навстречу и так же безотчетно отпрянул к перилам, когда милорд, не замечая его, прошествовал мимо во всем величии своего гнева. Слова были излишни; он знал все — а может быть, даже больше, чем все, — и час расплаты наступил.

Вполне вероятно, что в этот миг, когда рухнули вдруг все надежды, Арчи обратился бы в бегство перед лицом опасности. Но даже и эта возможность была у него отнята. Повесив плащ и шляпу в передней, милорд обернулся и одним повелительным жестом большого пальца молчаливо приказал сыну следовать за собой Арчи привычно повиновался. В течение всего обеда за столом царила гнетущая тишина, но как только судья доел жаркое, он поднялся из-за стола.

— Мак-Киллоп, отнесите вино ко мне в комнату, — распорядился он и добавил, обращаясь к сыну: — Арчи, мне надо с тобой поговорить.

И вот тогда-то почва на мгновение ушла из-под ног Арчи и храбрость в первый и последний раз совершенно оставила его.

— Меня ждут в городе, — пробормотал он.

— Подождут, — ответил Гермистон и первым пошел в свой кабинет.

Лампа из-под абажура проливала мягкий свет, в камине горел ровный огонь, на столе аккуратно лежали толстые стопки документов, а кругом по стенам сплошными рядами, прерывавшимися только там, где были окно и дверь, поблескивали корешки книг. Гермистон в молчании грел руки перед камином, стоя спиной к Арчи, и вдруг обратил к нему грозное лицо Судьи-Вешателя.

— Что это о тебе рассказывают? — произнес он.

Арчи нечего было на это ответить.

— Ну, так я сам скажу, — продолжал Гермистон. — Ты, сказывается, вздумал тявкать на отца, который тебя породил и который поставлен судьей его величества в этой стране; тявкать на отца при публике, посреди улицы, в то время как приводилось в исполнение решение Суда его величества. И, сверх этого, ты еще посчитал нужным высказать свои мнения в университетском Дискуссионном клубе.

Судья помолчал, потом с необыкновенной горечью заключил:

— Болван!

— Я собирался рассказать вам, — пробормотал Арчи. — Но вижу, что вы уже обо всем осведомлены.

— Премного обязан, — буркнул милорд и уселся за свой стол. — Стало быть, ты изволишь быть противником смертной казни?

— Очень сожалею, сэр, но это так, — ответил Арчи.

— Я тоже сожалею, — сказал его милость. — А теперь, если ты не возражаешь, мы разберем этот случай несколько подробнее. Насколько я понимаю, во время казни Дункана Джоппа — нашел кого защищать, ничего не скажешь! — ты среди всей городской голи и черни счел уместным закричать: «Это — подлое убийство, и мне внушает омерзение человек, который его повесил!»

— Нет, сэр, это не мои слова! — воскликнул Арчи.

— Каковы же были твои слова? — спросил судья.

— Кажется, я сказал: «Здесь свершилось убийство!» — ответил сын. — Нет, простите: «Здесь свершилось безбожное убийство!» Я вовсе не собираюсь скрывать от вас правду, — прибавил он, взглянув прямо в глаза отцу.

— Только этого еще недоставало! — отозвался Гермистон. — Так, значит, насчет омерзения речи не было?

— Это я сказал потом, милорд, когда уходил из Клуба. Я сказал, что присутствовал на казни этого несчастного и до сих пор испытываю омерзение.

— Ах, вот как! Но ведь ты, я думаю, знал, кто отправил его на виселицу?

— Да, я был на суде. Я должен объяснить, должен сказать вам все. Прошу у вас наперед прощения, если речи мои прозвучат без должной сыновней почтительности. Но положение мое отчаянное, — удрученно проговорил наш герой, которому уже не было пути назад. — Я читал несколько ваших процессов. Я присутствовал на суде над Джоппом. Это было мерзко. Отец, это было мерзко! Пусть он злодей, но зачем вы-то глумились над ним с таким же злодейским бессердечием? Вы испытывали злорадство — да, да, это было видно, — а я испытывал ужас, да поможет мне бог!

— Так, значит, ты молодой человек, который не одобряет смертную казнь? — проговорил Гермистон. — Что ж. А я — старый человек и одобряю ее. Я с радостью отправил Джоппа на виселицу, и с какой бы стати мне было это скрывать? Ты вон, как видно, сторонник честности во всем. Такой горячий сторонник честности, что не мог промолчать даже на улице при народе. Зачем же я-то стал бы молчать в суде — я, слуга короля при исполнении обязанностей, с карающим мечом в руке, и гроза всех преступников, каким я был с первого дня и с божьей

помощью останусь до конца? И довольно! Мерзко, видите ли! Мерзко или не мерзко, мне что до этого? Я не подряжался быть приятным. Я делаю свое дело насущное, и этого довольно.

Издевательские ноты в его голосе постепенно пропали, и простые слова зазвучали торжественно, словно судейская речь.

— Неплохо было бы, если бы и ты мог сказать о себе то же самое, — продолжал судья. — Но ты так сказать не можешь. Ты, говоришь, читал мои процессы? Но не чтобы учиться по ним, а чтобы подсмотреть наготу отца своего — достойное занятие для сына! Ты слюнтяй и мечешься по жизни, словно одичавший телок. Всякую мысль об адвокатской карьере ты должен теперь оставить. Ты не годишься для этого: слюнтяи не могут быть судьями. И к тому же, сын ты мне или не сын, но ты публично облил грязью члена верховного суда, и я уж позабочусь о том, чтобы для тебя это поприще было закрыто. Какие-то приличия все-таки следует соблюдать. И тут возникает следующий вопрос: что же мне с тобой делать? Ты должен подыскать себе занятие, потому что я не намерен содержать тебя в праздности. На что, по-твоему, ты годишься? В священники? Как бы не так! Вобьешь богословие в твою тупую голову! Кто путается в человеческих законах, тому и божьих законов не постичь. Что ты скажешь про ад? Что он внушает тебе омерзение? Нет уж, для слюнтяев нет места среди воинства Жана Кальвина. Что еще остается? Ну, говори. Должны же у тебя самого быть какие-то желания.

— Отец, позвольте мне отправиться на Пиренейский полуостров, — сказал Арчи. — Все, на что я пригоден, — это война.

— Пригоден, говоришь ты? — отозвался судья. — Но твоих слов еще недостаточно, нужно, чтобы и я был того же мнения. А я никогда не доверю тебе быть вблизи от французов, такому офранцуженному, какой ты есть.

— Тут вы несправедливы ко мне, сэр, — возразил Арчи. — Я храню преданность королю. Не хочу хвастать, но какой бы интерес я ни испытывал к французам, я все равно…

— Ты и отцу хранишь преданность? — перебил Гермистон. Ответа не последовало.

— Я бы этого не сказал, — продолжал милорд. — А я никогда не послал бы на службу королю — да благословит его бог! — человека, который показал себя таким дурным сыном своему отцу. Тут, на улицах Эдинбурга, ты можешь пускать слюни безо всякого вреда: меня этим не запугаешь. Да будь таких болванов вроде тебя хоть двадцать тысяч, они не спасли бы от виселицы ни одного Дункана Джоппа. Но в военном стане нет места слюнтяям, и, скажись ты там, тебе бы на собственной шкуре пришлось убедиться, противник или сторонник смертной казни лорд Веллингтон. Это ты-то, старая баба, собрался в солдаты? — со вспыхнувшим презрением воскликнул судья. — Да солдаты, глядя на тебя, животы надорвут от смеха!

У Арчи вдруг открылись глаза на явную нелогичность его позиции, и он сокрушенно промолчал. Ему каким-то образом передалось ощущение величия и мощи, присущих тому, кто сейчас сидел перед ним. Хотя откуда оно у него возникло, сказать трудно.

— Ну, так что же, других предложений у тебя нет? — спросил милорд.

— Вы так спокойно приняли все это, сэр, что мне просто стыдно… — начал Арчи.

— Не думай, однако, что я не испытываю отвращения, — вставил милорд.

Кровь бросилась Арчи в лицо.

— Я не так выразился… Я хотел сказать, что вы так терпеливо отнеслись к моему проступку… я признаю, что это был проступок. У меня не было намерения извиняться, но теперь я прошу у вас прощения. Это больше не повторится, даю вам свое честное слово!.. Я бы еще мог сказать, что восхищаюсь великодушием, с каким вы восприняли мой… мое оскорбительное выступление, — прерывающимся голосом закончил Арчи.

— У меня, видишь ли, только один сын, — проговорил Гермистон — Нечего сказать, хорош красавец! Но я должен сделать для него все, что могу. Как же прикажешь поступить? Будь ты моложе, я бы высек тебя за эту дурацкую выходку. А так мне остается только пожать плечами.

Но одно пусть будет совершенно ясно. Как отец, я могу только пожать плечами, но если бы я был лорд верховный прокурор, а не лорд верховный судья, сын или не сын, но мистер Арчибальд Уир сегодня же ночевал бы в тюрьме.

Арчи был окончательно уничтожен. Лорд Гермистон груб и жесток, это так; но перед его суровым благородством и самоотречением во имя долга нельзя было не склониться. С каждым произнесенным словом это ощущение величия лорда Гермистона делалось все явственнее, а вместе с тем росло и сознание его собственного бессилия, бессилия человека, вероломно поднявшего руку на отца своего и не сумевшего вызвать даже его раздражение.

— Я целиком отдаю судьбу мою в ваши руки, — промолвил Арчи.

— Вот первое разумное слово, которое я услышал от тебя за весь вечер, — сказал Гермистон. — Так ли, иначе ли, все равно бы к этому свелось, могу тебя уверить. Но лучше, что ты сам до этого дошел, чем если бы мне понадобилось силком тебя толкать. Так вот, как я смотрю на дело — а как я смотрю, так оно в действительности и есть, — тебе осталось только одно: заняться хозяйством в деревне. По крайней мере подальше от греха. Если уж приспичит тебе кричать — изволь, там тебя никто, кроме скотины, не услышит, да и казнить в деревне никого не казнят, разве форель под жабры ловят. Но учти, лэрдов-бездельников я не терплю. Каждый человек должен работать, пусть хоть баллады на улицах продавать; человек должен работать, или же быть бит плетьми, или же вздернут на виселицу. Если я посажу тебя в Гермистоне, значит, хозяйство в Гермистоне должно быть налажено образцово; ты обязан научиться понимать толк в овцах не хуже пастуха; я ставлю тебя моим управляющим и буду требовать с тебя дохода. Понятно?

— Я приложу все возможное старание, — ответил Арчи.

— Ну что ж, тогда я завтра утром извещу Керсти, и послезавтра можешь ехать, — сказал Гермистон. — И постарайся впредь не быть таким болваном! — с грозной усмешкой заключил он и без дальнейшего промедления обратился к своим бумагам.

ГЛАВА IV. МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ВЕРХОВНОГО СУДА

В тот же вечер Арчи, допоздна проблуждав по улицам, был допущен в столовую лорда Гленалмонда, где милорд сидел перед еле теплящимся камином с открытой книгой на колене. Облаченный в судейскую мантию, Гленалмонд казался все-таки довольно плотным, но сейчас, лишенный торжественного одеяния, навстречу гостю поднялся человек тощий и длинный, как жердь. Арчи много пережил за последние дни, только что он снова пережил страдание и унижение; он побледнел и осунулся, его глаза сумрачно и лихорадочно блестели. Но лорд Гленалмонд поздоровался с ним, не выразив и тени любопытства или удивления.

— Входите, входите! — проговорил он. — Входите, мой друг, и садитесь. Карстэрс, — добавил он, обращаясь к слуге, — подложите дров в камин, а после этого можете принести нам поужинать. — И снова адресовался к Арчи самым обыденным тоном: — А я, право, вас ждал.

— Я не буду есть, — объявил Арчи. — Это совершенно невозможно.

— Нет, возможно, — мягко сказал высокий старик-хозяин, кладя руку на плечо гостю. — И, поверьте мне, необходимо.

— Вы знаете, почему я здесь? — спросил Арчи, как только слуга вышел из комнаты.

— Догадываюсь, — ответил Гленалмонд. — Мы побеседуем об этом немного погодя, когда Карстэрс придет и уйдет и вы отведаете моего доброго чеддерского сыра и запьете его глоточком портера, не раньше.

— Я не могу есть, — повторил Арчи.

— Вздор, вздор! — ответил лорд Гленалмонд. — Вы целый день сегодня ничего не ели и, ручаюсь, вчера тоже. Нет такого плохого положения, которое невозможно сделать еще хуже;

все это, быть может, и весьма неприятно, но, если вы заболеете и умрете, будет еще неприятнее и притом для всех сторон, мой друг, для всех сторон.

— Я вижу, вам все известно, — сказал Арчи. — Где вы слышали?

— На ярмарке сплетен, в Парламенте, — ответил Гленалмонд. — В публике и среди адвокатов слухи просто кипят, но даже и к нам, судьям, доносится глас молвы.

В эту минуту вернулся Карстэрс с ужином, и пока он ставил приборы, лорд Гленалмонд спокойно рассуждал о том о сем, и это был даже не разговор, а так, приятное гудение, и Арчи, сидя напротив, не слушал его, всецело занятый собственными ошибками и обидами; и лишь только слуга их оставил, он тут же нарушил молчание:

— Кто сказал отцу? У кого хватило смелости ему сказать? Неужели это вы?

— Нет, не я, — ответил судья Гленалмонд. — Хотя готов признаться, мог бы и я, — разумеется, предварительно повидавшись и побеседовав с вами. Я думаю, ему сказал Гленкинди.

— Этот злобный карлик!

— Да, как вы изволили выразиться, этот злобный карлик, — подтвердил милорд, — хотя едва ли это подходящее определение для члена верховного суда. Во время прений сторон по одному довольно ответственному и запутанному делу Крич весьма пространно и аргументированно отстаивал необходимость опеки, как вдруг я вижу, Гленкинди наклоняется к Гермистону и, прикрыв рот ладонью, что-то ему по секрету сообщает. По виду вашего батюшки нельзя было определить, какого характера это известие; а вот по Гленкинди — можно: на лице у него было написано нескрываемое злорадство. Но по вашему батюшке — нет. Гранитный человек. В следующее мгновение он обрушился на Крича. «Мистер Крич, — говорит он, — я хотел бы взглянуть на эту купчую». Последовавшие затем полчаса, — с улыбкой продолжал Гленалмонд, — господам Кричу и компании пришлось вести довольно-таки неравный бой, который завершился, едва ли есть нужда добавлять, их полнейшим поражением. Иск был отклонен. Уверяю вас, мне еще не случалось наблюдать Гермистона в таком ударе. Он торжествовал. Он был просто in apicibus juris. [note 1]

Больше Арчи вытерпеть не мог. Он резко отодвинул тарелку и прервал хозяина дома, намеренно уклонившегося от темы.

— Я натворил глупостей, — сказал он. — А может быть, и того хуже. Вы должны нас рассудить, рассудить отца с сыном. С вами я могу разговаривать, не то что… Я объясню вам, что я думаю и как намерен поступить. А вы рассудите нас, — повторил он.

— Я отказываюсь от судейских полномочий, — очень серьезно ответил Гленалмонд. — Но, мой дорогой мальчик, если рассказ облегчит вашу душу и если вам хоть немного интересно будет послушать, что я вам скажу, когда выслушаю вас, я всецело к вашим услугам. Да позволено будет старику сказать не краснея: я люблю вас, как сына.

Голос Арчи неожиданно зазвенел:

— Да, да! В том-то и дело! А как, по-вашему, я люблю отца?

— Спокойнее, спокойнее, — проговорил милорд.

— Я буду очень спокоен, — отозвался Арчи. — Спокоен и совершенно откровенен. Я не люблю своего отца; иногда мне даже кажется, что я его ненавижу. В этом мой позор, мой грех, может быть, но, видит бог, в этом нет моей вины. Как мне было любить его? Он никогда не говорил со мной, ни разу не улыбнулся мне; наверное, он ни разу ко мне не прикоснулся. Вы знаете, как он выражается; сами вы говорите не так, но вы можете сидеть и слушать его без содрогания, а я не могу. Душа моя исполняется брезгливостью, когда он заводит свои речи; я готов ударить его. Но это все еще ничего. Я был в суде, когда приговаривали этого Джоппа. Вы там не были; но вы, должно быть, много раз слышали его выступления. Ведь он слывет… вы поймите меня: ведь он мой отец, и видите, как я вынужден говорить о нем! — ведь он

слывет жестоким, беспощадным и к тому же трусливым человеком! Лорд Гленалмонд, клянусь вам, когда я вышел в тот день из суда, я хотел умереть, этот позор был свыше моих сил, но я… я… — Арчи вскочил со стула и в волнении расхаживал по комнате. — Ну, кто я такой? Мальчишка, не подвергавшийся в жизни ни одному испытанию, ничего не сделавший, если не считать этой дешевой, беспомощной выходки. Но могу сказать вам, милорд, — потому что я себя знаю, такой уж я человек, пусть мальчишка, все равно, — я скорей бы умер в муках, чем подверг кого-либо такому надругательству, какому был подвергнут этот жалкий негодяй. Однако что же я сделал? Теперь только я понимаю. Я позволил себе дурацкую выходку как я уже вам сказал, да еще пошел на попятный, и просил у отца прощения, и отдался на его милость, а он посылает меня в Гермистон, — с горькой усмешкой заключил Арчи, — на всю жизнь, надо полагать. А разве я могу что-нибудь возразить? По-моему, он совершенно прав и наказание гораздо мягче, чем я заслуживаю.

— Мой бедный, мой дорогой и, если вы мне позволите прибавить, мой очень неразумный мальчик! — проговорил лорд Гленалмонд. — Вы только сейчас открываете в каком мире вы живете, — для людей с вашим и моим темпераментом довольно неприятное открытие. Мир создан не для таких, как мы; он создан для сотен миллионов людей, различных, не похожих друг на друга и еще менее похожих на нас. Для нас не проложены особые дороги, приходится сносить тычки и пинки в толпе. Не думайте, пожалуйста, что ваш поступок меня удивил, что я склонен вас осудить, напротив, я скорее восхищаюсь им. Но в голову мне приходят два-три соображения в связи с рассматриваемым казусом, которые (если вы согласитесь выслушать их хладнокровно) помогут вам, быть может, спокойнее отнестись к происходящему. Прежде всего вы, безусловно, повинны в том, что называется нетерпимостью. Вас оскорбляет, что ваш отец любит иной раз после обеда переступить в беседе грань пристойности, но это — его право и представляется мне, хотя я и сам до подобных вещей не охотник, всецело делом вкуса. Ваш отец, простите за излишнее напоминание, старше вас. Во всяком случае, он совершеннолетний и sui juris [note 2] и волен в своих речах. И знаете ли что? Вы не задумывались над тем, что он тоже может предъявить нам кое-какой встречный иск? Мы временами находим его грубым, он же, боюсь, всегда находит нас скучными. Претензия, пожалуй, довольно обоснованная.

Он ласково улыбнулся, но лицо Арчи оставалось недвижно.

— А теперь, — продолжал судья, — перейдем к пункту «Арчибальд о смертной казни». Ваше мнение по этому вопросу академически весьма убедительно, разумеется, я не могу и не склонен разделять его, но это отнюдь не значит, что его не придерживались в прежние времена многие превосходные умы. Возможно, и сам я в прошлом слегка прикасался к этой ереси. Но третий — или четвертый? — клиент в моей практике заставил меня изменить мой взгляд. Никогда прежде я не встречал человека, в которого так свято верил; я готов был положить за него руку в огонь, готов был на крест пойти. Но на процессе передо мной постепенно и неоспоримо вырисовался портрет столь бесстыдного, хладнокровного, отвратительного негодяя, что я уже хотел бросить дело и бежать куда глаза глядят. Гнев против этого человека закипел во мне еще сильнее, чем прежде кипела благородная ярость против его гонителей. Но я сказал себе: «Нет, так нельзя. Ты взялся защищать его, и из того, что ты переменил о нем мнение, еще не следует, что дело можно бросить. Все эти пышные фразы, которые ты с таким вдохновением подготовил накануне, теперь неуместны, и тем не менее отказываться от защиты ты не имеешь права, ты должен сказать что-то». И я сказал что-то, и его оправдали. Это создало мне репутацию. Но подобный опыт многому учит. Ни адвокат, ни, тем паче, судья при исполнении своих обязанностей не имеют права поддаваться собственным чувствам.

Рассказ Гленалмонда пробудил интерес Арчи.

— Я не спорю, — начал он, — то есть я согласен, что есть люди, которым лучше было бы не жить. Но кто мы такие, чтобы разобраться в поступках несчастнейшего из божьих созданий?

Кто мы такие, чтобы брать на себя решение там, где сам господь словно бы не решился еще произнести суд свой? Да еще радоваться при этом? Да, да, радоваться. Tigris ut aspera. note 3

— Да, вероятно, не слишком приятное зрелище, — согласился его собеседник. — Но знаете ли, пожалуй, величественное.

— У меня было с ним сегодня длинное объяснение, — проговорил Арчи.

— Я так и думал, — сказал Гленалмонд.

— И он произвел на меня впечатление… я не могу отрицать, он оставил впечатление величия, — продолжал сын Гермистона. — Да, он был велик. Ни слова о себе, только обо мне. Наверно, я восхищаюсь им. Самое ужасное…

— Не будем говорить об этом, — прервал его Гленалмонд. — Вы все отлично понимаете, и не надо напрасно казниться. Я иной раз вообще думаю, что мы с вами, две сентиментальные души, едва ли способны судить о простых людях.

— Почему? — не понял Арчи.

— Справедливо судить, я хотел сказать, — пояснил Гленалмонд. — Можем ли мы их верно оценить? Не слишком ли много с них спрашиваем? Мне понравилось, как вы только что сказали. Кто мы такие, чтобы разобраться в поступках несчастнейшего из божьих созданий? Для вас, как я понял, это довод против смертной казни — и только. Но, может быть, я спрашиваю себя, может быть, это относится ко всем случаям? Разве легче судить хорошего человека или заурядного человека, чем самого черного преступника на скамье подсудимых? И не найдется ли для каждого веских оправданий?

— Да, но ведь хороших мы не думаем карать! — воскликнул Арчи.

— Нет, не думаем, — согласился Гленалмонд. — Но караем. Вашего отца, например.

— Вы считаете, что я покарал его?

Лорд Гленалмонд наклонил голову.

— Да, — сказал Арчи, — по-видимому, покарал. И, что хуже всего, мне кажется, ему было больно. Очень ли больно, разве разберешь у такого человека. Но, мне кажется, ему было больно.

— Несомненно, — сказал Гленалмонд.

— Значит, он говорил с вами? — воскликнул Арчи.

— О, нет! — ответил судья.

— Скажу вам честно, — продолжал Арчи. — Я хотел бы искупить свою вину перед ним. Я уеду в Гермистон, это уже решено. А вам я перед богом даю обещание, что ни слова не скажу больше о смертной казни и ни о каком ином предмете, по которому наши мнения могут разойтись, в течение… ну, какого времени? Через сколько лет у меня будет довольно ума? Скажем, в течение ближайших десяти лет. Правильное ли я принял решение?

— Правильное, — сказал милорд.

— По отношению ко мне самому этого достаточно, — сказал Арчи, — достаточно, чтобы унизить несколько мою гордыню. Но как же он, кого я публично оскорбил? Как мне поступить по отношению к нему? Как выразить признательность такому… такой каменной горе?

— Только одним способом, — ответил Гленалмонд. — Только послушанием, немедленным, неукоснительным, добросовестным.

— Клянусь, он его получит! — воскликнул Арчи. — И вот вам на этом моя рука.

— Я принимаю вашу руку и ваш обет, — ответил судья. — Бог да благословит вас, мое дитя, и даст вам силы сдержать слово! Бог да ведет вас путями истинными, и да не омрачатся дни ваши, и да сохранит он вам ваше честное сердце!

С этими словами он запечатлел на лбу юноши старомодный, рыцарский символический поцелуй и, сразу же переменив тон, заговорил о другом:

— А теперь давайте снова наполним портером кружки; и я уверен, если вы еще раз отведаете моего чеддерского сыра, вы увидите, что у вас прекрасный аппетит. Суд вынес решение, и дело слушаньем прекращено.

— Нет, нет, я должен сказать еще одну вещь! — воскликнул Арчи. — Справедливость велит мне. Я знаю — после нашего разговора я просто верю, рабски, горячо, — что он никогда не потребует от меня ничего бесчестного. Я горжусь сознанием, что в этом мы с ним сходимся, и я горжусь, что могу сказать вам это.

Судья поднял кружку. Глаза его блеснули.

— Я думаю, мы можем теперь позволить себе тост, — проговорил он. — Я предлагаю выпить за здоровье человека, очень от меня отличного и во многом меня превосходящего, человека, с которым я часто расходился во взглядах и который часто, пользуясь просторечием, гладил меня против шерсти, но которого я никогда не переставал почитать, а также, смею прибавить, и бояться. Надо ли мне называть его имя?

— Лорд верховный судья милорд Гермистон! — провозгласил Арчи почти весело. И оба отпили из своих кружек.

Нелегко было вернуться к обыденному разговору после таких мгновений. Но судья сумел заполнить паузу ласковой улыбкой, извлек на свет божий весьма редко пускаемую в ход табакерку, и наконец, совсем уже махнув рукой на возобновление светской беседы, готов был раскрыть книгу и прочесть вслух какое-нибудь любимое место, как вдруг у парадной двери раздался шум и Карстэрс ввел в столовую лорда Гленкинди, разгоряченного полуночной пирушкой. Едва ли Гленкинди вообще когда-либо представлял собою приятное зрелище, отличаясь низким ростом, большим брюхом и грубыми, чувственными чертами, придававшими его облику что-то медвежье. Теперь же, тяжело отдуваясь после многочисленных возлияний, с багровым лицом и мутным взглядом, он являл собою полный контраст высокому, бледному, величественному Гленалмонду. Противоречивые чувства нахлынули на Арчи: и стыд за то, что вот этот человек — один из избранных друзей его отца, и гордость, что Гермистон, по крайней мере, может пить, не утрачивая достоинства, и, наконец, ярость от сознания, что перед ним стоит тот, кто его предал. Но даже и это быстро прошло. Арчи сидел молча и ждал, что будет дальше.

Пьяный судья сразу же начал бессвязно объяснять Гленалмонду цель своего визита. На завтра отложено обсуждение одного пункта, в котором он, Гленкинди, никак не может разобраться, вот он и зашел, увидев свет в доме, чтобы пропустить стакан портера, и… в это мгновение он заметил присутствие в комнате третьего лица. Арчи увидел, как рыбий рот Гленкинди судорожно, недоуменно округлился, а затем в глазах мелькнуло злорадство: Гленкинди его узнал.

— Кто это? — проговорил он. — Не может быть! Это вы, юный Дон-Кихот? Как поживаете, сэр? Как здоровье вашего батюшки? Что это про вас рассказывают? Говорят, будто вы отчаянный левеллер. Никаких королей, никаких парламентов, а от бедных приставов в суде вы испытываете омерзение. Ай-яй-яй! Вот неприятность! Да еще сын такого отца. Потеха и только!

Арчи вскочил; он слегка покраснел, когда услышал в устах этого человека свое злосчастное выражение, однако полностью владел собой.

— Милорд, и вы, лорд Гленалмонд, мой горячо любимый друг! — начал он. — Я очень рад, что могу воспользоваться этим удачным моментом для того, чтобы к вам обоим обратиться с исповедью и извинениями.

— Ну, ну, к чему еще исповедь? Тут надо соблюдать юридические формы, мой юный друг, — шутливо воскликнул Гленкинди. — А так я боюсь вас слушать. Еще обратите меня в свою веру.

— С вашего позволения, милорд, — возразил Арчи, — то, что я собираюсь сказать, для меня очень серьезно А ваши шутки, сделайте милость, отложите на то время, когда я вас покину.

— Но помните, ни слова против приставов! — не сдавался Гленкинди

Арчи продолжал, словно не слышал:

— Вчера и сегодня я вел себя неподобающим образом и в оправдание могу лишь сослаться на свою молодость. Я неразумно отправился на место казни и устроил там неприличную сцену, и, мало того, еще в тот же вечер выступил у себя в колледже с осуждением смертной казни. Вот мои проступки, и если вы услышите, что мне приписывают что-либо сверх этого, знайте: ни в чем другом я не виновен. Я уже выразил сожаление отцу, и он был так добр, что простил меня, поставив, однако, условием, что я прекращу мои занятия юриспруденцией.

ГЛАВА V. ЗИМА НА ВЕРЕСКОВЫХ ХОЛМАХ

1. В ГЕРМИСТОНЕ

Дорога в Гермистон идет почти все время вверх по долине речки, излюбленной удильщиками и комарами, мимо тихих заводей и маленьких водопадов в тени ив или зарослей березняка. От нее отходят редкие проселки и теряются в холмах, там, где во впадине между двух склонов виднеется какой-нибудь одинокий фермерский дом; но по большей части дорога безлюдна, а холмы необитаемы. Гермистонский приход — один из самых малонаселенных в Шотландии; и к тому времени, когда вы проделаете весь путь, вас уже нисколько не удивят крохотные размеры местной церквушки (приземистого старинного сооружения, где на скамьях не разместятся и пятьдесят человек), стоящей на лужайке у ручья в окружении десятка-двух каменных надгробий

Дом священника по соседству, хотя едва ли больше обыкновенного горского жилища, окружен цветником, в котором золотятся соломенные крыши ульев. И все это вместе — церквушка и дом священника, сад и кладбище — ютится в рябиновой роще, и круглый год здесь царит тишина, нарушаемая лишь жужжанием пчел, да журчаньем ручья, да звоном церковного колокола по воскресеньям. А еще через милю дорога оставляет речную долину и круто сворачивает вверх, в Гермистон, и здесь, на заднем дворе у каретного сарая, кончается. Дальше, куда ни глянь, лежат зеленые склоны; здесь кричат зуйки, свиристят коростели, поют жаворонки; ветер гудит, как в снастях корабля, сильный, холодный, чистый, и вершины холмов на закате теснятся одна за другой, словно стадо овец.

Дом в Гермистоне, построенный за шестьдесят лет до описываемых событий, был неказист, но удобен; к нему примыкали двор и огород, а дальше слева — стена фруктового сада, за которой к исходу октября вызревали маленькие жесткие груши.

Парк, хотя едва ли заслуживающий это имя, был довольно обширен, но совсем одичал; лиловый вереск и болотные птицы давно нарушили его пределы и разрослись и расселились здесь, так что ни один самый искусный садовник не мог бы определить, где кончается цивилизованный парк и начинается дикая природа. Когда-то под влиянием мистера шерифа Скотта милорд затеял большие посадки; в соответствии с этим на многих акрах появились живые еловые изгороди, и их низкие щеточки привносили что-то неуместное, что-то от игрушечной лавки в просторные вересковые пустоши. Но сильный, сладкий, земляной запах болот стоял в воздухе всегда, и круглый год звучали бесконечной тоской крики пернатых обитателей вересковых холмов.

Расположенный так высоко на почти не защищенной местности, дом был открыт всем ветрам, и весенним дождям, и бесконечным осенним ливням, переполнявшим водостоки; и нередко вид из окна был черен от бурь или бел от зимних снегов. Но стены дома были

непроницаемы для ветра и непогоды, в очагах ярко горел торф, и в комнатах было приятно и тепло. Долгими вечерами Арчи сидел, прислушиваясь к трубным завываниям ветра среди холмов и любуясь пламенем в камине, завивающим ниточку дыма и весело поглощающим свою почвенную пищу, и упивался радостью крова и уюта.

Жизнь в Гермистоне протекала одиноко, но общество соседей его не манило. Он мог при желании хоть каждый вечер ездить вниз в дом священника и сидеть за кружкой грога с этим недалеким, тощим старичком, все еще деятельным, хотя колени его от старости подгибались, а голос по временам срывался на детский фальцет, и с его почтенной супругой, дебелой, приятной женщиной, от которой только и можно было услышать, что «добрый вечер» да «добрый день». Местные молодые лэрды, гуляки и грубияны, нанесли ему визиты вежливости. Сверху из Роуменса прискакал молодой Гэй на своей корноухой лошадке, и молодой Прингл из Друманно приехал снизу на сером мышастом красавце. Гэй так и остался на дружественной территории и был в бессознательном состоянии уложен в постель; Прингл в четвертом часу утра при свете фонаря, который держал, стоя на крыльце, Арчи, кое-как все же вскарабкался в седло, покачнулся, издал нечленораздельный вопль и, словно горный дух, исчез из освещенного круга. Еще минуту или две слышен был бешеный галоп его коня, потом на время смолк за холмом, и только много спустя, далеко внизу, в долине Гермистона, снова зазвучал стук призрачных копыт, свидетельствуя о том, что лошадь, по крайней мере, если не всадник, по-прежнему находится на пути к дому.

В Кроссмайкле в трактире собирался по вторникам клуб, объединявший цвет местной молодежи, — члены его еженедельно напивались на взносы, так что тот оказывался в выигрыше, кто всех больше выпивал. Арчи не имел охоты до удовольствий подобного рода, однако появляться там — и нередко — почитал для себя долгом, пил, дабы не уронить свое мужское достоинство, никому не уступал в местных развлечениях, без посторонней помощи возвращался домой и сам отводил коня в стойло, вызывая восхищение Керсти и девушки-прислуги. Он ездил обедать в Дриффел и ужинать в Уиндилоу. Был на новогоднем балу в Хантсфилде, где его встретили весьма радушно, и после этого ездил на псовую охоту с милордом Мурфеллом, на чьем имени — имени единственного члена британской палаты лордов в этой книге, изобилующей лордами верховного суда Шотландии, — перу моему надлежит сделать почтительную паузу.

Но и здесь судьба его складывалась так же, как в Эдинбурге. Привычка к одиночеству прочно укореняется в человеке, а суховатая сдержанность, которой сам он не замечал за собою, и гордость, которая казалась высокомерием, а была в действительности лишь застенчивостью, отталкивали и обижали его новых знакомых. Гэй заехал еще только раз или два, Прингл больше не приезжал вовсе, а вскоре наступило и такое время, когда Арчи перестал появляться на клубных сборищах и сделался во всех отношениях тем, за кого прослыл чуть ли не с первого дня: Затворником из Гермистона. Заносчивая мисс Прингл из Друманно и надменная мисс Маршалл из Мейнса, как рассказывают, поссорились из-за него назавтра после бала, а он и понятия ни о чем не имел, не допуская и в мыслях, что мог быть замечен такими красавицами. Сама леди Флора, дочь лорда Мурфелла, дважды обратилась к нему на балу, и второй раз голосок ее зазвенел, словно нежная трель, и щечки зарделись; сердце его так и вспыхнуло, но он, холодно и не без изысканности извинившись, поспешил отойти и вскоре уже смотрел, как она танцует в паре с пустоголовым щеголем Друманно, терзался и в бешенстве думал о том, что в этом мире пользуются успехом такие, как Друманно, а удел таких, как он, — стоять в стороне и завидовать. Он словно сам лишал себя благосклонности света — где бы он ни появлялся, там сразу же угасало всякое веселье, — и он чувствовал это, и мучился, и переставал бывать на людях, замыкаясь в своем одиночестве. Если бы он понимал, какое зрелище представляет в глазах девиц, какое впечатление производит на чувствительные сердца; если бы догадывался, что Затворник из Гермистона, молодой, воспитанный, вежливый, но всегда холодный, будоражил женское воображение чарами байронизма, когда байронизм

еще был внове, возможно, что его судьба могла бы сложиться по-иному. Возможно, но, думается мне, весьма мало вероятно.

Так уж было начертано в его гороскопе: вырасти скупым на страдания и готовым ради того только, чтобы не испытывать боли, на отказ от любых радостей; обладать чисто римским чувством долга и врожденным аристократизмом вкуса и манер — быть сыном Адама Уира и Джин Резерфорд.

2. КЕРСТИ

Керсти шел уже шестой десяток, но с нее можно было лепить прекрасную статую. Высокая, статная, все такая же, как в молодости, легконогая, пышногрудая, широкобедрая, без единой серебряной нити в золотых волосах, она жила неподвластная времени: годы, казалось, только обласкали и украсили ее. Щедрая, могучая женственность ее облика неоспоримо свидетельствовала о том, что эта женщина предназначена быть женой героев и матерью их сыновей; но по прихоти судьбы она прожила свою молодость одинокой и теперь бездетной приближалась к порогу старости. Нежный пыл ее души за долгие пустые годы преобразился в бесплодное рвение, которое она обращала на все вокруг себя. В хозяйственные дела она вносила нерастраченную страсть молодости и отдавалась мытью полов всем своим истосковавшимся сердцем. Раз уж ей не дано было любовью завоевать себе любовь, ей осталось теперь только вспыльчивостью, резкостью подавлять всех и вся. Нетерпимая, острая на язык и скорая на расправу, она была в ссоре чуть ли не со всей округой, а по отношению к тем, кто избежал ее гнева, сохраняла лишь вооруженный нейтралитет. Жена управляющего «задирала нос», сестра садовника, которая вела его хозяйство, оказалась «дерзкой негодницей». Раз в году она присылала лорду Гермистону письма, в которых требовала кары обидчикам, подкрепляя это требование щедрым изобилием подробностей, ибо не надо думать, будто размолвка с женой не распространялась и на мужа, или что в разногласие с сестрой садовника не втягивался также незамедлительно и сам садовник. Как следствие всех этих дрязг и неумеренных выражений, Керсти, точно смотритель маяка в своей башне, была практически лишена человеческого общества, если не считать помогавшей ей по дому молоденькой служанки, которая, всецело находясь в ее власти, поневоле должна была приспосабливаться к переменчивому нраву «хозяйки» и безропотно принимать тычки и милости в соответствии с обстоятельствами.

И вот в разгар этого позднего бабьего лета боги послали Керсти сомнительный дар — Арчи. Она знала его еще младенцем и, случалось, шлепала за непослушание; и, однако, поскольку она не видела его со времени его последней болезни, когда ему исполнилось одиннадцать лет, встреча с этим высоким, стройным, изящно воспитанным и немного меланхоличным джентльменом двадцати лет была для нее как бы новым знакомством. Теперь он был «молодой Гермистон», «сам хозяин». Он держался с неоспоримым превосходством, и так холоден и прям был взгляд его черных глаз, что почва уходила у нее из-под ног и всякая возможность сцен и столкновений была пресечена с самого начала. Он был здесь новым человеком, что возбудило ее любопытство, и он был молчалив, отчего оно постоянно подогревалось. Ко всему прочему он был темноволос, а она блондинка, и он был мужчина, а она женщина — противоположности, служащие неисчерпаемым источником вечного интереса.

В ее чувстве к нему сочетались клановая преданность, восторженность пожилой незамужней тетушки и настоящее идолопоклонство. О чем бы он ее ни попросил — будь это хоть смешно, хоть жутко, — она, не задумываясь, с радостью выполнила бы любую его просьбу. Эта страсть (ибо то была настоящая страсть) переполняла все ее существо. Ей доставляло восхитительное блаженство стелить ему постель, зажигать у него лампу в его отсутствие или стягивать с него мокрые сапоги и прислуживать ему за столом, когда он возвращался домой.

Молодой человек, который бы так же упивался всем, что связано с духовным и физическим образом женщины, безусловно, должен был бы считаться по уши влюбленным и сам вел бы себя соответствующим образом. Но у Керсти — хотя сердце ее трепетало при звуке его шагов и лицо светлело на целый день, если он утром похлопает ее по плечу, — у Керсти мысли не шли дальше настоящего мгновения, а мечты — дальше того, чтобы только оно продлилось вечно. Чтобы вечно все оставалось так, как есть, и чтобы она могла с тем же рвением служить своему идолу, дважды или трижды в месяц получая награду — прикосновение его ладони к ее плечу.

Я написал, что сердце ее трепетало — таков общепринятый оборот речи; в действительности же, когда, находясь одна в какой-либо из комнат, она слышала за дверью в коридоре его шаги, в груди ее что-то медленно подымалось, дыханье замирало и глубокий вздох срывался с ее губ только после того, как шаги начинали удаляться и было очевидно, что надежда сейчас, в эту минуту, увидеть его не сбылась. Эта постоянная жажда его общества целый день держала ее настороже. Когда по утрам он выезжал из дому, она стояла на пороге и провожала его восхищенным взором. Когда наступал вечер и подходил срок его возвращения домой, она тайком пробиралась в дальний угол сада и часами стояла у стены, ладонью загородив от низкого солнца глаза, в ожидании бесплодного, восхитительного наслаждения увидеть, как он покажется на дальнем склоне. Перед сном, когда она сгребала жар у него в камине, откидывала покрывало на его кровати, выкладывала его ночную рубашку, и ничего уже больше, казалось, нельзя было сделать для ублажения его королевского величества, как разве помянуть его пылко в своих прежде весьма прохладных молитвах и улечься в постель, не переставая думать о его совершенствах, о его блистательном будущем и о том, что она завтра подаст ему на обед, у нее оставалась еще одна сладостная возможность: внести поднос с ужином и пожелать ему спокойной ночи. Иногда, почти не отрываясь от книги, Арчи ограничивался рассеянным кивком и коротким пожеланием спокойной ночи, и ей оставалось только уйти; но случалось — и со временем все чаще, — что он встречал ее с откровенным облегчением, книга откладывалась, и тогда между ними затевался разговор, который продолжался весь ужин, а иной раз заходил при свете догорающего камина и за полночь. Не удивительно, что после целого дня одиночества Арчи тянуло поболтать, а неукротимая Керсти употребляла все возможные уловки, чтобы так или эдак завладеть его вниманием. Обычно она приберегала до вечера какую-нибудь интересную новость и выпаливала вдруг, с порога, внося поднос с ужином, и это служило своего рода прологом ко всему вечеру. Стоило ему только прислушаться к ее болтовне, и дело было сделано. Ловко, незаметно вела она его от темы к теме, боясь хоть на минуту замолчать, не давая ему времени даже для ответа, чтобы, боже упаси, в его голосе не прозвучали прощальные нотки. Как многие люди ее сословия, она была отличным рассказчиком; стоя перед камином, как на трибуне, она вела повествование, изображая в лицах его героев, обрисовывая их красочными штрихами, вплетая в него бесконечные: «а она говорит», «а он отвечает», — переходя на шепот в страшных и сверхъестественных местах; и так до той минуты, когда с деланным изумлением она вдруг всплескивала руками и, указывая на часы над камином, восклицала: «Ахти, мистер Арчи! Да ведь уже невесть как поздно! Прости, господи, мне неразумной!»

Так благодаря тонкому маневру Керсти не только первая заводила эти ночные разговоры, но всякий раз первая же их и прерывала и удалялась сама, а не бывала отсылаема своим молодым господином.

3. ПОГРАНИЧНОЕ СЕМЕЙСТВО

Такая неравная близость — отнюдь не редкость в Шотландии, где еще жив клановый дух; где служанка, как правило, до конца дней не оставляет своего места, и только роль ее со

временем меняется: сначала помощница, потом тиран, а под конец пенсионер все той же семьи; да еще при этом она и сама имеет причины гордиться славным происхождением, доводясь, как, например, Керсти, родней хозяину дома, и уж во всяком случае знает собственные семейные предания и может счесться родством со многими древними фамилиями. Ибо такова уж особенность шотландцев всех степеней и положений, что они относятся к своему прошлому совсем иначе, чем англичане, любовно хранят память о предках, безразлично, добрых или злых, и до двадцатого колена передают в роду живое чувство единства с умершими.

Примером этому может служить семья Керсти Эллиот. Любой из них — и Керсти первая — так и сыпал сведениями из своей родословной, изукрашенной всеми мыслимыми подробностями, какие только могла сохранить семейная память или сочинить смелая фантазия; и — странное дело! — на каждой ветке этого генеалогического древа болтался повешенный. У Эллиотов и самих была достаточно пестрая история; но эти Эллиоты еще возводили свой род к трем самым злосчастным пограничным кланам: к Никсонам, Элуолдам и Кроузерам. Один за другим их предки мелькали во мраке времен, то под покровом дождей и горных туманов угоняя жалкую добычу — несколько тощих коров и хромых лошадей; то визгливо крича и сея смерть в одной из бесчисленных и кровавых горских усобиц. И один за другим оканчивали свою бурную жизнь, оторвавшись от земли, вздернутые на перекладине королевской виселицы или на суку помещичьей березы. Ибо ржавая пищаль шотландского правосудия, поражавшая обычно самих только судий, для Никсонов, Элуолдов и Кроузеров оказывалась достаточно меткой. Но в памяти потомков осталась одна их лихость, позор же оказался забыт. С какой гордостью объявляли они, например, о своем родстве с Эндрю Элуолдом из Лейверокстейнса по прозвищу Дэнд-Неудачник, с тем самым, которого вместе с семью другими Элуолдами засудили насмерть в Джеддарте во времена короля Иакова Шестого!

Во всем этом переплетении злодейств и несчастий у Эллиотов из Колдстейнслапа имелась одна несомненно законная причина для гордости: правда, что мужчины в их роду были висельники, мелкие воры, беззаконники и головорезы, зато женщины, согласно тому же семейному преданию, всегда были верны и чисты. Воздействие наследственности осуществляется не только через передачу клеток. Закупи я себе сегодня предков оптом с любезной помощью Королевской Геральдической палаты, и моему внуку (если, конечно, он шотландец) уже не будет давать покоя слава их подвигов. Мужчины из рода Эллиотов заносились, дрались и бесчинствовали как бы по праву — в соблюдение и продолжение семейных традиций. Точно так же и женщины; быть может, не менее буйные и горячие по натуре, они на старости при тусклом свете тлеющего в очаге торфа пересказывали кровавые предания, прожив жизнь, посвященную страстному соблюдению добродетели.

Отец Керсти отличался глубочайшим благочестием, детей по старинке держал в страхе божием и при всем том был известным на всю округу контрабандистом. «Помню, когда я маленькая была, — любила рассказывать она, — бывало, надают вдруг шлепков и спать загонят, как курей в птичник: значит, отцовы дружки едут в гости с товарами. Бывало, у нас в кухне между полуночью и тремя часами собирались все отчаянные головы из соседних графств. Фонари свои во дворе оставляли, так иной раз их там штук по двадцать торчало. Но богохульных речей в Колдстейнслапе не слыхать было никогда; отец имел нрав крутой, что в делах, что в разговорах, раз услышит, как кто побожился, и сразу вот тебе порог. Горячей веры был человек, уж так молился истово, только диву даешься, но ведь этот дар спокон веку у нас в роду».

Отец этот был женат дважды: первый раз на темноволосой женщине из старинного клана Элуолдов, родившей ему Гилберта, ставшего потом владельцем Колдстейнслапа, а второй раз — на матери Керсти.

— Он уже старый был, когда на ней женился, — рассказывала она, — но здоровый, как бык, и глотка такая — с дальнего пастбища было слышно, когда он гикнет на стадо. А вот она

была — так просто чудо как хороша. Благородная кровь сказывалась, та же, что у вас, мистер Арчи. Вся округа по ней с ума сходила, по ее золотым волосам. Вот мои волосы с ее ни в какое сравнение не идут, а ведь мало есть женщин, у кого они гуще или красивее цветом. Я часто говорила моей голубушке мисс Джинни, вашей маменьке, потому что она все огорчалась из-за своих волос, что жидкие и не вьются. «Полно, мисс Джинни, — говорю, — повыкиньте-ка вы все эти французские снадобья да помады, на что они годятся? И ступайте вон в долину, да вымойтесь в холодном горном ключе, и высушите волосы прямо на вересковом ветру, как делала всегда моя матушка, и я тоже взяла себе с юных лет за привычку, — вы только сделайте, как я вам говорю, моя милочка, сами скажете, что я была права. У вас будут такие волосы, густые да пригожие, коса в руку толщиной, золотые, как новенькая гинея; парни в церкви глаз отвести не смогут». Да ей, бедняжке, на ее век и так волос хватило. Я отстригла прядку на память, когда уж она лежала, бедненькая, в гробу, мертвая и холодная. Вот ужо покажу вам как-нибудь, если хорошо вести себя будете. Ну так вот, моя матушка…

После смерти главы этого семейства осталась златоволосая Керсти, которая поступила в услужение к своим дальним родственникам Резерфордам, и смуглолицый Гилберт, на двадцать лет ее старше, который хозяйствовал в Колдстейнслапе, женился, прижил четырех сыновей между 1773 и 1784 годами, а также, в виде своего рода пост-скриптума, дочку, появившуюся на свет в 1797 году — в год побед у Кампердауна и у мыса Сент-Винсент. Такая уж, видно, была в этой семье традиция — девочка напоследок. А в 1804 году в возрасте шестидесяти лет Гилберт умер, и умер смертью, которую можно назвать героической. В ту ночь его ожидали домой с ярмарки, ожидали в любое время между восемью вечера и пятью утра и в любом мыслимом состоянии от воинственности до полной немоты, ибо и в своем преклонном возрасте он блюл все лихие обычаи шотландских лэрдов. Известно было также, что он повезет домой изрядную сумму денег; знали об этом и в городе. Он сам показывал там кошелек с гинеями, и никто не заметил, как шайка эдинбургских бродяг, из самых подонков общества, еще засветло ускользнула с ярмарки и углубилась в горы по Гермистонской дороге, где у них совершенно не могло быть никаких законных дел. В качестве проводника они захватили с собой одного тамошнего жителя — некоего Диккисона; да, дорого же он вскоре заплатил за это! И вот у Старой Прорвы, где брод, подлые злоумышленники внезапно напали на почтенного лэрда, шестеро на одного, да и на того полусонного после нескольких бутылок доброго вина. Но несдобровать тому, кто вздумает схватиться с Эллиотом. В темноте, по седельную подпругу в воде, он орудовал кнутовищем, точно кузнец молотом, и велик был шум у брода от ударов и проклятий. И он прорвался сквозь засаду и поскакал домой — с пулей в теле и тремя ножевыми ранами, с выбитыми зубами, сломанным ребром, с порванной уздечкой и на издыхающей лошади. Наперегонки со смертью скакал к дому старый лэрд. Во мраке ночи, без узды, едва держась в седле, он глубоко вонзал шпоры в бока лошади, и лошадь, раненная еще тяжелее хозяина, на ходу закричала от боли, точно человек, и эхо в горах подхватило ее крик, так что в Колдстейнслапе повскакали из-за стола и переглянулись, побледнев. Лошадь пала в воротах усадьбы; ее хозяин дошел до дома и рухнул на пороге. Сыну, его поднявшему, он передал кошелек с деньгами. «Держи», — только и сказал. Ему всю дорогу мерещилось, будто грабители вот-вот его нагонят, но тут морок его оставил — он опять с ясностью осознал, где и как была устроена засада, и жажда мести охватила угасающий ум. Приподнявшись из последних сил и указывая пальцем в темноту ночи, он властно произнес два слова: «Старая Прорва», — и впал в беспамятство. Сыновья никогда не любили его, но чтили и боялись. Теперь, при звуке этого приказа, вырвавшегося с последним вздохом из окровавленного, беззубого отцовского рта, древний дух Эллиотов пробудился в четырех сыновьях.

— Не покрыв головы, — вдохновенно продолжает моя рассказчица Керсти, за которой я лишь следую по мере моих способностей, — не захватив ружей, потому что в доме не было ни крупицы пороха, с одними палками попрыгали те четверо в седла. Только Хоб, старший, замешкался у порога, где натекла лужа крови, намочил в ней ладонь и по старинному

шотландскому обычаю клятвенно воздел руку к небу. «Дьявол сегодня же ночью получит свою добычу!» — воскликнул он и припустил во весь опор.

До Старой Прорвы было три мили под уклон по скверной горной дороге. Керсти случалось видеть, как путники из Эдинбурга среди бела дня спешивались тут и вели лошадей в поводу. Но четверо братьев скакали так, словно сам Рогатый гнался за ними по пятам и само небо ожидало их впереди. Вот уж они у брода, и здесь находят они Диккисона. Люди рассказывают, будто он был жив, будто приподнялся на локте и позвал на помощь. Но напрасно искал он здесь милосердия. Увидел Хоб, как блеснули его глаза и зубы в свете фонаря. «А-а, — говорит, — дьявол, так у тебя, оказывается, зубы целы». И наехал на полуживого конем, и еще, и еще. Дальше пришлось одному спешиться — это был Дэнди, меньшой, едва двадцати лет в ту пору — и вести их с фонарем по бездорожью. «Всю ночь продирались они напролом через мокрый вереск и можжевельник по кровавым следам убийц своего отца. И всю ночь Дэнди шел, точно собака, по следу, а остальные ехали сзади и ничего не говорили — ни черного слова, ни красного. Тишина стояла, только журчали вздувшиеся ручьи, да слышно было, как скрежещет зубами Хоб — тот, что поклялся кровавой клятвой»

С первыми проблесками зари они увидели, что вышли на гуртовую дорогу, и тогда четверо братьев остановились и выпили по глотку брэнди на завтрак, так как понимали, что Дэнд вывел их верно и что негодяи от них недалеко, торопятся со всех ног в Эдинбург по Пентландской равнине. К восьми часам они получили о тех первое известие — встречный пастух видел не далее, как час назад, четверых людей, «покалеченных так, что живого места на них нет».

«Значит, по одному на каждого», — сказал Клем и поднял дубину.

«Пятеро! — говорит Хоб. — Кровь господня! Ну, и человек был наш отец! Да еще пьяный». Но тут с ними случилась, как выражается моя рассказчица, «великая обида»: их нагнал конный отряд соседей, собравшихся на подмогу. Четыре мрачных взгляда встретили подкрепление. «Дьявол привел вас», — промолвил Клем, и после этого они уже скакали в хвосте отряда, мрачно повесив головы. К десяти часам злодеи были настигнуты и схвачены, а в три, когда они все ехали по Эдинбургской узкой улице, навстречу им показалась толпа людей, и они несли что-то, и струйки воды стекали с их ноши на землю.

«Это было тело шестого вора, — продолжала рассказ Керсти. — С головой, расколотой, как орех, оно на всю ночь было отдано водам Гермистонского ручья, и они били его о камни, и волочили по песчаным отмелям, и перекидывали через голову на перекатах, и с первым светом дня передали стремительному Твиду, и он понес его быстрее ветра, потому что вода как раз прибывала и подхватила его, и понесла, и долго кружила в черных водоворотах под стенами замка и в конце концов выбросила на один из ледорезов Кроссмайклского моста. Так что теперь они собрались вместе все шестеро (Диккисона еще раньше привезли на телеге), и люди воочию увидели, каков мужчина был мой брат — дрался один против шестерых, но денег не отдал, да еще пьяный!»

Так от почетных увечий умер, стяжав славу, Гилберт Эллиот из Колдстейнслапа; но и сыновья его прославились тогда не меньше. Их скачка по ночной дороге, искусство, с которым Дэнд шел по кровавому следу, безжалостная расправа с израненным Диккисоном (которая была там секрет на весь свет) и страшная кара, уготованная ими, как считалось, для остальных, потрясали и будоражили воображение соседей. Столетием раньше последний из менестрелей сочинил бы об этой гомерической схватке и погоне последнюю из баллад, но дух менестрелей умер или перевоплотился в шерифа Скотта, и выродившиеся жители пограничных холмов должны довольствоваться тем, чтобы излагать эти события в прозе и представлять себе Четырех Черных Братьев как некое единство, наподобие двенадцати апостолов или трех мушкетеров.

Роберт, Гилберт, Клемент и Эндрю — в местной уменьшительной форме Хоб, Гиб, Клем и Дэнди Эллиоты имели между собой много общего, в особенности же повышенное чувство

семейной солидарности и семейной чести; но в жизни они пошли каждый своей дорогой, добивались успеха и терпели неудачи каждый в своем деле. По мнению Керсти, все они были «с чудинкой», не считая Хоба. И в самом деле, Хоб, унаследовавший усадьбу, был образцом добропорядочности. Он стал церковным старостой, и никто не слышал из уст его дурного слова после той ночи, когда они преследовали убийц отца, — разве только на стрижке овец раз или два за все время. Грозный мститель, каким он явился тогда, словно сквозь землю провалился. Он, кто в самозабвении гнева погрузил руку в дымящуюся кровь, кто затоптал конем Диккисона, сделался после этого безупречным и довольно унылым воплощением деревенской благопристойности, умело наживался на высоких военных ценах, ежегодно откладывал кое-что в банк про черный день, пользовался уважением у окрестных лэрдов и более крупных помещиков, так как его слова всегда бывали дельны и разумны, если только их вообще удавалось из него выжать, и был особенно ценим местным пастором мистером Торренсом, превозносившим его как образец прихожанина и родителя. Видно, преображение его в ту ночь было минутным; какой-нибудь Барбаросса, какой-нибудь ветхий Адам дремлет в каждом из нас, покуда обстоятельства не пробудят его к деятельности; и Хоб при всей своей трезвости и уравновешенности в тот раз заплатил сполна причитающуюся с него дань дьяволу. Он женился и, окруженный сиянием той легендарной ночи, был обожаем женой. Завел целую ораву детишек, босоногих, маленьких головорезов, которые скопом совершали паломничества в школу и обратно, все и вся портя и ломая на своем пути, так что в округе их иначе не звали, как «чумой». Но дома, когда «папаша не уезжали», они были тише воды. Словом, Хоб наслаждался полнейшим покоем — награда того, кто исполнит древнюю трагическую роль: убийцы в обществе, по рукам и по ногам связанном путами цивилизации.

Про Эллиотов говорили, что добро и зло в них перемежается «наподобие хлеба с ветчиной»; во всяком случае, деловые люди в их семье странным образом чередовались с мечтателями. Второй брат, Гиб, сделался ткачом и, рано оставив отчий кров, поселился в Эдинбурге, чтобы в конце концов вернуться домой с опаленными крыльями. В его характере была какая-то восторженность, побудившая его всей душой принять идеи французской революции, и она же едва не привела его под колесницу правосудия, когда милорд Гермистон произнес свою сокрушительную речь против либералов, приведшую к изгнанию Мура и Палмера, а всю их партию развеявшую в прах. Ходили слухи, будто милорд от вящего презрения к либерализму и отчасти также из добрососедства заранее предупредил Гиба. Встретившись с ним как-то в Горшечном ряду, милорд остановился перед ним и сказал: «Гиб, олух ты безмозглый, что это я слышал про тебя, будто ты занимаешься политикой? Ткачи в политику пошли, а? Так вот что я тебе скажу. Если ты еще не совсем лишился мозгов, то отправляйся-ка подобру-поздорову назад в Колдстейнслап да садись за станок, за станок садись, понятно?»

Гиб послушался этого совета и возвратился в отчий дом с поспешностью, напоминавшей бегство. Самой яркой фамильной чертой, доставшейся ему в наследство, был молитвенный дар, о котором говорила Керсти; и теперь неудавшийся политик обратился к религии — или, как считали иные, к ереси и расколу. Каждое воскресенье он спозаранку приезжал в Кроссмайкл, где постепенно сколотил особую секту человек в пятнадцать, называвших себя «Последние у Бога истинно верующие» или коротко «Последние у Бога». Непосвященные же называли их просто «черти Гиба». Присяжный остряк городка Бейли Суиди клятвенно утверждал, будто их бдения начинаются всякий раз пением гимна «Да сгинет к Сатане акцизный!» и будто причащаются они горячим грогом. И то и другое было язвительным выпадом против их учредителя и главы, который в юности, как рассказывали, промышлял контрабандой спиртных напитков и однажды в ярмарочный день был якобы задержан с поличным прямо на улице того же Кроссмайкла. Было известно, что каждое воскресенье они молят бога о благословении Бонапартова оружия, и за это «Последних у Бога» ребятишки неоднократно побивали камнями, когда они расходились из дома, служившего им храмом, а

самого Гиба как-то с улюлюканьем прогнал по улице эскадрон шотландских волонтеров, среди которых гарцевал в мундире и с саблей наголо его родной брат Дэнди. «Последних у Бога» еще подозревали в «антиноминализме», что в другое время могло бы считаться грехом весьма серьезным, но теперь в глазах общественного мнения было совершенно отодвинуто на задний план скандальным пристрастием к Бонапарту. А в остальном все устроилось благополучно. Гилберт установил в Колдстейнслапе свой ткацкий станок в одном из сараев и прилежно трудился за ним шесть дней в неделю. Братья, с ужасом относившиеся к его политическим взглядам, чтобы не сеять раздоров в доме, к нему обращались редко; а он к ним — и того реже, так как все свободное время штудировал Библию или молился. Но дети в Колдстейнслапе обожали тощего ткача, и он был у них за няньку. Иначе, как с младенцем на руках, улыбающимся, его не видели — в этой семье вообще улыбчивых не было. Когда жена Хоба подступалась к нему с уговором завести себе жену и собственных детей, раз уж он их так любит, он отвечал только: «У меня нет ясного взгляда на это дело». Если его не звали к обеду, он так и не приходил из своего сарая. Однажды невестка, недобрая, язвительная женщина, проделала такой опыт. Он целый день провел без еды, и только к вечеру, когда ему уже недоставало света, сам пришел в дом и немного смущенно признался: «С утра на меня нашло такое молитвенное вдохновение, что я даже не припомню, чем сегодня пообедал». Учение секты «Последних у Бога» нашло свое воплощение и оправдание в жизни ее основателя.

«И все же кто его знает, — говорила Керсти, — такая ли уж он сушеная рыба? Он тогда поскакал вместе со всеми и душой был с братьями заодно. „Последние у Бога"! Пустые слова. Хоб не очень-то по-божески разделался тогда с Джонни Диккисоном, это я точно могу сказать. Но бог их знает! Может быть, он и не христианин вовсе. Может, магометанин, или сам черт, или огнепоклонник, разве скажешь».

Имя третьего брата красовалось на дверной табличке, и не где-нибудь, а в городе Глазго. Прямо огромными буквами: «Мистер Клемент Эллиот». Тот самый дух новшества, который у Хоба проявился весьма скромно в использовании новых удобрений, а у Гилберта ушел впустую на крамольную политику и еретическую религию, Клему оказался на пользу, воплотившись в разных хитрых механических изобретениях. В детстве он вечно что-то мастерил из палочек и веревочек, за что слыл в семье чудаком. Но теперь об этом было уже забыто, он вошел партнером в фирму и рассчитывал умереть не иначе, как олдерменом. Он тоже женился и в шуме и копоти Глазго растил многочисленное семейство; рассказывали, что он в десять раз богаче своего брата-лэрда; и когда он выбирался в Колдстейнслап, чтобы вкусить здесь заслуженный отдых, что случалось не так-то уж редко, соседи дивились его сюртуку тонкого черного сукна, его бобровой шапке и глубоким складкам его черного галстука. Будучи по характеру человеком тяжеловесным, вроде Хоба, он, однако, приобрел в Глазго некоторую живость и апломб, которые выделяли его среди братьев. Все остальные Эллиоты были тощи, как жерди, Клемент же обрастал жирком и мучительно пыхтел, натягивая сапоги. «Да, у нашего Клема вес немалый», — посмеиваясь, говорил Дэнд. «В муниципальном совете Глазго», — парировал Клем, и остроумие его было оценено по достоинству.

Четвертый брат, Дэнд. стал пастухом и временами, когда мысли его не отвлекались другим, выказывал себя истинным мастером своего дела. Никто не умел лучше Дэнди выучить овчарку; никто не мог зимой, в стужу и в метель, сравняться с ним мужеством и самоотверженностью. Но если его искусство было выше похвал, то сказать то же самое о его усердии никак нельзя; он довольствовался тем, что работал на брата за стол и кров да за кое-какую мелочь на расходы, которую Хоб давал ему по первой его просьбе. Не то чтобы он не ценил денег, напротив; и отлично умел их потратить; умел заключить и очень выгодную сделку, когда у него душа к этому лежала. Но сознание собственного превосходства было для него важнее звонкой монеты в кармане; от него он чувствовал себя богаче. Хоб пытался его увещевать. «Я не настоящий пастух, а любитель, — отвечал ему Дэнд. — Я гляжу за твоими овцами, когда хочу, но свободой своей не поступлюсь. Никто не сможет посмотреть на меня

свысока». Клем подробно объяснял ему чудесные свойства сложных процентов и соблазнял выгоднейшим помещением капитала. «Вот как? — отвечал Дэнди. — Ты что же, думаешь, если я возьму у Хоба денег, я их не пропью и не растрачу на женщин? Да и потом, мое царство не от мира сего. Либо я поэт, либо вообще никто». Если же Клем заговаривал о старости, Дэнд гордо прерывал его: «Я умру молодым, как Робби Бернс». Он и в самом деле недурно владел малыми стихотворными формами. Его «Стансы Гермистонскому ручью» с изящным рефреном:

Люблю бродить, мечтая, где ты журчишь, пробегая,
Под горой, Гермистонский ручей, -

а также его песня:

О, Эллиоты минувших дней,
Спящие каждый в могиле своей,
Не было в мире храбрее людей,
Чем Эллиоты минувших дней, -

и в особенности его действительно прекрасные стихи о Камне Ткача-Богомольца заслужили ему в округе еще не исчезнувший в Шотландии титул местного барда; и хоть сам он не печатался, другие, кто печатался и пользовался славой поэтов, признавали его и ценили. Вальтер Скотт обязан Дэнди Эллиоту текстом своего «Набега Уири» из «Шотландского барда», он принимал его у себя в доме и отозвался о его дарованиях со своим всегдашним великодушием. С «Эттрикским Пастушком» они были в сердечной дружбе; встречаясь, напивались, ревели друг другу в лицо стихи, ссорились, мирились, снова ссорились — и так до поздней ночи. А помимо этой, почти официальной дани признания, Дэнди пользовался за свой талант любовью соседей и был дорогим гостем в каждом доме на много миль вокруг, отчего проистекали всякого рода соблазны, которых он скорее искал, чем бежал. Он даже сидел на скамье покаяния в церкви, буквально повторив этим удел своего любимого героя. Написанные им по этому поводу стихи к пастору Торренсу — «на посмешище всем одиноко стою», — к сожалению, чересчур вольные, чтобы приводить их здесь дальше, обежали всю округу с быстротой огненного телеграфа; их читали, перефразировали, на них ссылались, над ними хохотали повсюду от Дамфриса до Дунбара.

Этих четырех братьев прочно связывало воедино взаимное восхищение, почти поклонение, столь характерное для замкнутых семейств, отличающихся обилием талантов при недостатке культуры. Восхищались друг другом даже крайние противоположности: Хоб, в котором поэзии было не больше, чем в каминных щипцах, восхвалял стихи Дэнда; Клем, которого вопросы религии заботили не больше, чем в свое время Клейверхауса, испытывал или, во всяком случае, выражал восторг перед молитвами Гиба; а Дэнди увлеченно следил за деловыми успехами Клема. Взаимные восторги влекли за собой снисхождение к слабостям друг друга. Лэрд Хоб, Клем и Дэнд, все трое тори и горячие патриоты, стыдливо извиняли про себя революционную ересь Гиба. С другой стороны, Хоб, Клем и Гиб, ведшие жизнь строго нравственную, принимали беспутство Дэнда как некое затруднительное свойство, которым господь в неисповедимой мудрости своей счел нужным наделить бардов и которое тем самым красноречиво свидетельствует о поэтическом таланте их брата. Чтобы представить себе это простодушное семейное самодовольство, надо было послушать, с какой иронией Клем во время своих наездов из Глазго описывал дела и людей этого большого города, где он жил и орудовал. Самые разнообразные персонажи — священнослужители, городские советники, крупные

коммерсанты, с которыми сводили его дела, — все как один изображались черными красками и служили лишь для выгодного оттенения достоинств семейства Эллиотов. Единственным человеком, к которому Клем питал какое-то уважение, был лорд-пробост, и его он уподоблял своему брату Хобу. «Он напоминает мне нашего лэрда, — говорил Клем. — Такой же выдающийся ум, и так же поджимает губы, когда недоволен». И Хоб в ответ словно для иллюстрации, сам того не подозревая, складывал рот в мрачную гримасу. С незадачливым проповедником из церкви Святого Еноха он разделывался в двух словах: «Будь у него хоть на мизинец таланта нашего Гиба, прихожане бы рыдали». И Гиб, честная душа, украдкой улыбался, потупив очи. Клем Эллиот был для них лазутчиком, которого они выслали к людям. И он возвратился с доброй вестью, что в мире нет никого, кто шел бы в сравнение с Четырьмя Черными Братьями, что нет такого поста, которому бы они, заняв его, не служили бы к украшению, и такого важного лица, чье место не принадлежало бы по праву скорее им, и такого дела, мирского или божественного, которое не выиграло бы от их решающего участия. Извинить их за это можно только, если иметь в виду, что они почти ничем не отличались от обыкновенных крестьян. А об их здравомыслии можно судить по тому, что это их удивительное деревенское зазнайство не выходило за стены дома и хранилось в семье, словно какая-то фамильная тайна. Мир не видел, чтобы их суровые лица искажала ухмылка самолюбования. И, однако же, об этой их черте знали. «Уж так гордятся собою, дальше некуда» — таково было мнение округи.

И в заключение, поскольку речь идет о пограничных жителях, следует привести здесь их прозвища, под которыми они фигурировали в речах соседей. Хоб был «Сам лэрд». «Rois ne puis, prince ne daigne» note 4, всевластный хозяин Колдстейнслапа — поместья акров в пятьдесят; Клемент назывался «мистер Эллиот», как значилось у него на дверной дощечке, а прежнее прозвание «Чудак», как совершенно неподходящее, было отброшено и вспоминалось лишь в доказательство людской глупости и недальновидности. Младший же брат за свои бесконечные приключения получил прозвище «Забулдыга Дэнд».

Разумеется, отнюдь не все вышеизложенные сведения содержались в рассказах Керсти Эллиот, которая сама обладала слишком многими семейными слабостями, чтобы трезво судить о них. Впрочем, со временем Арчи стал замечать, что в ее изложении семейная хроника Эллиотов содержит один пробел.

— Ведь как будто была еще и девочка? — спросил он наконец.

— Да, есть и девочка, Керсти. Названа по мне, во всяком случае, по моей бабке, а это все равно, — ответила тетка и продолжала повествовать о Дэнди, которого втайне предпочитала остальным племянникам за его галантные похождения.

— А какова собой твоя племянница? — поинтересовался Арчи, когда в следующий раз представился случай.

— Она-то? Черна, как козявка. Но, пожалуй, совсем дурнушкой ее все-таки нельзя назвать. Да, она ничего себе, вроде цыганочки, — объяснила тетка, у которой были две разные мерки: для мужчин и для женщин; а вернее даже будет сказать — три, и третья, особенно строгая, для девушек.

— Отчего же я никогда не вижу ее в церкви? — не отступался Арчи.

— Так она, как слышно, живет в Глазго у Клема. И вовсе ни к чему это. О мужчинах я не говорю, но женщины, где родились, там и должны жить. Благодарение богу, я никогда не была отсюда дальше, чем в Кроссмайкле.

Постепенно Арчи начал удивляться тому, что Керсти так расхваливает своих родичей, так восторгается и даже гордится их добродетелями, а заодно и пороками, и тем не менее между Гермистоном и Колдстейнслапом не видно ни малейших признаков сердечности. По воскресеньям, когда с подоткнутым подолом, из-под которого белели в три ряда фестоны нижних юбок, в нарядной цветастой индийской шали на плечах госпожа домоправительница

шла в церковь, ей случалось обгонять своих родичей, идущих той же дорогой, но только не спеша. Гиба, разумеется, среди них не было: он еще с рассветом дня отправлялся в Кроссмайкл к своим собратьям в ереси; но остальные члены семьи шагали развернутым строем: впереди Хоб и Дэнд, рослые, прямые, с высоко поднятыми головами и сумрачными лицами, в пледах, накинутых на плечи, сопровождаемые доброй дюжиной детей, вымытых и вычищенных до лоска, то растягивающихся по обочине, то снова собирающихся в стайку по пронзительному приказу матери; и сама мать, по странной случайности, которая остановила бы внимание более опытного наблюдателя, чем Арчи, в точно такой же, как у Керсти, шали, только чуть ярче и заметно новее. И при виде этого зрелища статная Керсти словно делалась еще выше ростом и показывала свой классический профиль — нос кверху, ноздри раздуты, благородная кровь разлилась по лицу ровным нежным румянцем.

— Добрый день вам, миссис Эллиот, — произносила она, и враждебные и любезные интонации смешивались в ее голосе в тончайшей пропорции.

— Добрый день, сударыня, — отвечала жена лэрда, удивительным образом приседая и разворачивая веером хвост, иначе говоря, с искусством, недоступным для мужчины, выставляя напоказ ослепительные узоры своей индийской шали. И армия Колдстейнслапа у нее за спиной теснее смыкала ряды, словно почуяв приближение врага, Дэнди с фамильярностью фаворита-царедворца приветствовал тетку, но Хоб продолжал путь с застывшим свирепым лицом. Было очевидно, что здесь сказываются последствия какой-то давней семейной ссоры; быть может, затеяли ее в свое время женщины, а сам лэрд оказался в нее втянут позднее, зато потом уже не смог пойти на попятный и принять участие в последовавшем формальном примирении.

— Керсти, — не выдержал однажды Арчи — За что ты обижена на своих родственников?

— Я ведь не жалуюсь, — покраснев, сказала Керсти — И не говорю ничего.

— Вот именно, — ответил Арчи. — Даже «здравствуйте» родному племяннику не говоришь.

— Мне нечего стыдиться, — отвечала она. — Я с чистым сердцем возношу молитвы господу. Если бы Хоб заболел, угодил в тюрьму или в нищету впал, я бы не замешкалась с подмогой. Но всякие эти реверансы, любезности, разговоры — благодарю покорно.

Арчи чуть усмехнулся и откинулся на спинку кресла.

— По-моему, у тебя с миссис Роберт портятся отношения, когда вы надеваете индийские шали, верно?

Она молча посмотрела на него загадочно вспыхнувшим взглядом, и больше о войне индийских шалей ему не суждено было узнать ничего.

— И никто из них не приходит сюда навестить тетку? — продолжал разведку Арчи.

— Мистер Арчи, — с достоинством отвечала она, — надеюсь, я знаю свое место. Куда бы это годилось, если бы из-за меня в дом вашего отца понабилось черномазых, неумытых мужиков, — прости господи! — на которых и мыла-то жаль. Нет уж. Все они пропащие, как и черные Элуолды. Терпеть я не могу черных! — и тут же спохватившись, пояснила, глядя на Арчи: — В мужчинах это не так уж много значит, но женщинам никак не к лицу, тут и спору быть не может. Длинные волосы — украшение женщины, так и в Библии написано, а ведь любому ясно, что апостол, когда говорил эти слова, то думал про какую-нибудь золотоволосую красавицу. Да и всякий так. Ведь он хоть и апостол, а был такой же мужчина, как вы.

ГЛАВА VI. ЛИСТОК В МОЛИТВЕННИКЕ КРИСТИНЫ

Арчи усердно посещал Гермистонскую церковь. Воскресенье за воскресеньем он садился и вставал вместе со всеми ее немногочисленными прихожанами, слушая, как скачет по регистрам голос мистера Торренса, словно кларнет у неумелого музыканта, и смотрел, как колышется его траченное молью облачение и мелькают черные нитяные перчатки, то молитвенно соприкасаясь перед грудью, то взлетая торжественно над головой в традиционном

благословляющем жесте. Ложа семьи Гермистонов представляла собой тесное квадратное ограждение, маленькое, как сама церковь, и с пюпитром чуть побольше табуретки. Здесь и сидел Арчи, как настоящий принц — единственный неоспоримый джентльмен в приходе и единственный богатый наследник, располагающийся в единственной церковной ложе, ибо все остальные скамьи были без боковых дверец. Отсюда ему, как на ладони, были видны все собравшиеся в церкви: дюжие отцы семейств в пледах, их статные жены и дочери, их присмиревшие детишки и робко жмущиеся к хозяевам псы-овчарки. Арчи томился, не видя вокруг ни одного породистого лица, не считая разве что собак с их утонченными лисьими мордами и изысканно закрученными хвостами. Обитатели Колдстейнслапа не представляли в этом смысле исключения; может быть, только Дэнди, скрашивавший себе непереносимые тяготы проповеди сочинением стихов, слегка выделялся среди них блеском глаз, некоторой живостью черт и живописностью поз, но даже и у Дэнди был деревенский, неотесанный вид. Все остальные прихожане, словно стадо унылых овец, вызывали в его воображении картины гнетущего однообразия жизни — день ото дня, день ото дня тяжелый труд под открытым небом, овсяная каша, гороховые лепешки, вечером дремотный жар домашнего очага и потом беспробудный сон в теплой кровати до утра. А ведь многих среди них он знал как людей проницательных и неунывающих, стойких духом мужчин и трудолюбивых, хозяйственных женщин, своей неустанной деятельностью приводящих самый мир в движение и с порогов своих хижин излучающих благодетельное влияние. Знал он и то, что они такие же люди, как и все, что под корой традиций у них такие же страсти; он наблюдал, как они отдавали дань Бахусу, видел их шумные попойки; слышал о том, как самые хмурые постники среди них, даже члены церковного совета, оказывались способны на самые нелепые выходки по зову любви. Мужи, приближающиеся к концу опасного и трудного жизненного пути; девы, трепещущие от страха и любопытства на пороге жизни; женщины, рожавшие и, быть может, хоронившие детей, навсегда запомнившие прикосновение мертвых пальчиков и топанье ножек, ныне умолкнувшее, — как же так среди них нет ни одного одушевленного хоть каким-то предчувствием, подвижного лица, в котором отразились бы ритм и поэзия жизни? «О, хотя бы одно живое лицо!» — думал Арчи, разглядывая с отчаянием окружающую его галерею физиономий, и на ум ему приходила забытая леди Флора или же рисовалась безнадежная картина: вот так и проживет он попусту свои годы в этом безрадостном пастушьем углу, и сюда придет к нему смерть, и могилу ему выроют здесь же под рябинами, и в громе небесном прозвучит хохот духов над его неудавшейся жизнью.

В то воскресенье, о котором сейчас пойдет речь, не оставалось уже никаких сомнений, что весна наконец наступила. Было тепло, и от скрытого холодка, еще державшегося в воздухе, это тепло было только ощутимее и приятнее. Ручейки журчали и серебрились под кустами первоцвета. Залетные запахи земли настигали в пути и кружили голову пьянящим блаженством. Серые, унылые склоны лишь кое-где пробуждались от трезвой зимней бесцветности; Арчи любовался красотой долины — от века сущей красотой земли, думалось ему, явленной не в подробностях, а одухотворяющей все в целом. Он сам удивился, когда почувствовал желание сочинять стихи, — он баловался иногда нескладным рубленным восьмисложником в духе Скотта, — однако, усевшись, как положено, на большом камне у живописного речного переката под сенью деревца, уже блиставшего молодой листвою, с еще большим удивлением обнаружил, что писать ему не о чем. Наверное, просто сердце его билось в лад с ритмом вселенной. Так или иначе, но когда он дошел до поворота и очутился в виду церкви, там уже кончили первый псалом. Протяжное вибрирующее пение с модуляциями и примитивными фиоритурами звучало, словно голос самой церкви, возносящей хвалу богу. «Все живо вокруг, — сказал себе Арчи и повторил в полный голос: — Хвала господу, все вокруг живо!» Он еще помедлил между могилами. Из-под черной могильной плиты выглядывал кустик первоцвета. Арчи наклонился, чтобы прочесть благочестивую надпись. И вдруг поразился резкому контрасту между желтыми цветами и черной холодной землей. Он поежился от

ощущения неполноты во всем, что было вокруг: в утре, в весне, в природе. Весеннее тепло содержало холодок, бутоны первоцвета были окружены грубыми комьями земли, повсеместно с цветочным ароматом смешивался сырой запах почвы. Из церкви донесся голос престарелого Торренса, взвившийся почти до крика. И Арчи подумал: неужели и старые кости мистера Торренса чувствуют радостное воздействие весны? Дряхлый мистер Торренс, тень того, кто некогда был настоящим Торренсом, скоро и он ляжет вот здесь и будет лежать под дождем и под солнцем со всеми своими ревматическими болями, а на его кафедре тем временем будет витийствовать новый служитель божий. Он вздрогнул от этой мысли, а может быть, от холода, и поспешил войти в церковь.

Он смиренно прошел между рядами скамей и уселся в своей ложе, не поднимая глаз, ибо опасался, что и без того огорчил доброго старого проповедника, и теперь прилагал все старания к тому, чтобы не обидеть его еще больше. Но в слова службы он не вслушивался. Ослепительная лазурь небес, облака благоуханий, звон падающей по камням воды и щебет птиц подымались, словно воскурения, со дна его глубинной, первородной памяти, которая принадлежала не ему, а плоти на костях его. Это тело его вспоминало, и оно казалось ему вовсе не грубым, материальным, а эфемерным, летучим, как обрывок мелодии; и он испытывал к собственному телу нежность, словно к невинному младенцу, одаренному чувством прекрасного, но обреченному на раннюю смерть. И к старому Торренсу, богомольному Торренсу, чьи дни сочтены, он чувствовал такую жалость, от которой слезы готовы были брызнуть из глаз.

Молитва кончилась. Прямо над ложей Арчи в стене была вделана плита, единственное в церкви украшение, в память — я хотел было сказать «о добродетелях», но вернее будет — просто о существовании некоего давно почившего Резерфорда из Гермистона; и теперь Арчи, откинувшись головой на этот памятник своего родового величия, сидел, вперившись в пустоту, а на губах его играла чуть приметная не то озорная, не то грустная улыбка, удивительно красившая его. И этот миг выбрала сестра Дэнди, сидевшая подле Клема в своем городском наряде, чтобы рассмотреть молодого лэрда. Маленькая педантка, конечно, слышала, когда он вошел, но, пока продолжалась молитва, держала лицо склоненным и глаза опущенными в молитвенник. Это не было притворством, никто меньше нее не заслуживал названия притворщицы. Просто так уж ее воспитывали: когда нужно, поднять глаза, когда нужно, опустить, сохранять непринужденный вид, в церкви быть серьезной и задумчивой и всегда, при всех обстоятельствах быть красивой. Такова женская игра жизни, и она открыто придерживалась ее правил. Арчи был в церкви единственным, кто ей был интересен, — новое лицо, и, как все говорили, человек со странностями, да к тому же молодой, и помещик, и она никогда еще его не видела. Не удивительно поэтому, что все время, пока она стояла в грациозной молитвенной позе, мысли ее были заняты им. Пусть он только взглянет в ее сторону — сразу поймет, что она барышня тонко воспитанная и живала даже в Глазго. Он обязательно восхитится ее туалетом, а может быть, и ее найдет недурной. Тут сердечко ее встрепенулось, но только самую малость, и она, чтобы не давать ему волю, стала воображать, каков он из себя — этот молодой человек, который сейчас на нее смотрит, — рисуя и отвергая портрет за портретом, остановилась на самом непрезентабельном — бело-розовый коротышка, нос пуговкой и никакого вида; над его восхищением она могла бы просто посмеяться. И, однако, сознание, что на нее устремлен его взгляд (хотя на самом деле он рассматривал Торренса и его митенки), держало ее в трепете до того мгновения, когда наконец прозвучало: «Аминь». Но даже и тогда хорошие манеры не позволили ей допустить поспешность и удовлетворить любопытство сразу. С ленивой грацией, как настоящая леди из Глазго, она опустилась на скамью, расправила юбки, понюхала букетик первоцветов, поглядела сначала вперед, потом через проход назад и только потом, не торопясь, повела глазами в сторону Гермистоновской ложи. И долгое мгновение не могла их оторвать. Затем ей все же удалось заманить свой взгляд обратно, точно птичку, нерешительно выпорхнувшую было из клетки. Смутные чаяния

обступили ее со всех сторон, будущее разверзлось под ногами, и голова у нее закружилась; образ молодого лэрда, изящного, худощавого, темнокудрого, с загадочной полуулыбкой на устах, пугал и притягивал, как пропасть. «Ах, неужели это моя судьба?» — подумала она, и грудь ее стеснилась.

Торренс, заложив основательно фундамент из библейских текстов, уже изрядно углубился в рассуждения о каких-то богословских тонкостях, когда Арчи наконец посмотрел на прихожан. Первым на глаза ему попался Клем, слушавший Торренса со снисходительным видом преуспевающего человека, который хоть и не брезгует деревенским священником, но вообще-то привык в Глазго к несравненно более ученым проповедям. Арчи ни разу прежде его не видел, но узнал без труда и без колебания счел вульгарным и самым неприятным из всей семьи. Клем сидел, подавшись вперед, когда на него упал взгляд Арчи. Но вот он лениво откинулся, и молодому человеку открылось самое грозное в мире оружие — юная девушка в профиль. Одетая не то чтобы по самому последнему велению моды (как будто это имеет хоть какое-то значение!), однако же благодаря стараниям изобретательных городских модисток, а также собственному врожденному вкусу она явилась его взору в наряде, как нельзя более ее красившем. Ее туалет возбудил в крохотной церкви целую невидимую бурю страстей и пересудов. Миссис Хоб успела выразить свое мнение еще в Колдстейнслапе. «С ума сойти! — заявила почтенная дама. — Кофта нараспашку! Что проку от кофты, которая не застегивается! Ну, как дождь пойдет? А вот эти скорлупки на ногах как, ты говоришь, называются? „Дымиброкены"! От них и впрямь один дым останется, не успеешь ты и до церкви дойти. Нет, воля твоя, но только это не хороший вкус!»

Клем, чей кошелек произвел эту метаморфозу и чье сердце было вовсе не безразлично к производимому ею впечатлению, поспешил на подмогу сестре:

— Вздор, женщина! Что ты понимаешь в хорошем вкусе, когда ты и в городе-то ни разу не была?

А Хоб, с улыбкой оглядев девушку, демонстрировавшую посреди темной кухни свой наряд, положил конец спору такими словами:

— Девочке эти тряпки к лицу, а дождя похоже что и не будет. Пусть пойдет сегодня так. Но постоянно носить их здесь не годится.

В сердцах соперниц, которые шествовали на воскресную службу в белоснежных нижних юбках, блестя на солнце вымытыми мылом лицами, туалет Кристины пробудил самые разнообразные эмоции — от простого, независтливого восхищения, выражавшегося протяжным вздохом, до более злобных чувств, находивших выход в сдавленных восклицаниях: «Ишь, разоделась!» На ней было соломенно-желтое муслиновое платье с глубоким вырезом и такое короткое, что были видны лодыжки и лиловые туфельки demi-broquins, ленты которых оплетали крест-накрест ножку в желтом паутинчатом чулке. В согласии с очаровательной модой, которой не боялись следовать наши бабушки, снаряжаясь для преследования и полонения наших дедушек, ее платье спереди было туго подхвачено, обрисовывая грудь, и держалось во впадинке брошью из дымчатого топаза. Здесь же, удостоенный завидной чести, трепетал букетик первоцветов. На плечах, вернее, на спине, почти не прикрывая плеч, завязанная спереди бантом, лежала атласная накидка такого же лилового цвета, как и туфельки. Лицо обрамляли беспорядочные темные локоны, стянутые надо лбом маленькой гирляндой желтых бархатных роз, а поверх всего была надета деревенская соломенная шляпка. Среди окружавших ее румяных и поблекших лиц она сверкала, как нежный распустившийся цветок, — красотой, и нарядом, и топазовой брошью, отбрасывавшей пучок солнечных лучей, и бронзово-золотым отливом темных волос.

Арчи, как ребенка, тянуло к себе это блестящее видение. Он посмотрел на нее еще раз, потом еще, и вот их взгляды встретились. Верхняя губка приоткрыла ровный ряд зубов. Он увидел, как красная кровь прихлынула под смуглую кожу. Ее глаза, огромные, как у оленя,

встретили и удержали его взгляд. И он догадался, кто она: Керсти, племянница его экономки, сестра деревенского пророка Гиба; и в ней он нашел, что искал.

Кристина, встретившись с ним глазами, вздрогнула и тут же, вся в улыбках, вознеслась в сферы туманно-прекрасного. Но блаженство было столь же восхитительным, сколь и кратким. Она отвела взгляд. И сразу же стала корить себя за это: надо было не отводить ни с того ни с сего глаза, а медленно отвернуться, подняв кверху носик. Увы, было уже поздно. А его взгляд по-прежнему разил ее, словно батарея пушек, наведенных в упор, и под этим взглядом она чувствовала себя то наедине с молодым лэрдом, то, наоборот, выставленной на позорище перед всеми прихожанами. Ибо Арчи продолжал пить глазами ее красоту, подобно путнику, который набрел в горах на чистый источник и, погрузив лицо в его живительные струи, все пьет, пьет и не может напиться. Он не в силах был оторваться от сверкающего топаза и бледно-желтых венчиков первоцвета в ложбинке у нее на груди. Он видел, как вздымалась девичья грудь и трепетали цветы, и гадал, что могло так взволновать девушку. А Кристина чувствовала, что он на нее смотрит, — быть может, даже видела краем розового ушка, выглядывавшего среди локонов, — чувствовала, как краска заливает ей лицо и дыхание становится неровным. Словно загнанный зверек, она всячески пыталась придать себе храбрости. Поднесла было к лицу носовой платочек тончайшего батиста с кружевами и тут же снова спрятала его, испугавшись: не дай бог, он еще подумает, что она разгорячена. Принялась читать псалмы, но вдруг спохватилась, что священник уже говорит проповедь. И в довершение всего сунула в рот карамельку, в чем сразу же и раскаялась это было так непоэтично! Мистер Арчи, уж конечно, никогда не станет сосать леденцы в церкви. Сделав отчаянное усилие, она проглотила леденец целиком и вся зарделась, будто вспыхнула огнем. Только заметив этот алый сигнал бедствия, Арчи опомнился и сообразил, как неприлично ведет себя. Что он наделал! Был нагл и груб в церкви с племянницей своей экономки; бесстыдно и подло глазел на красивую скромную девушку. Возможно — даже вероятно, — что он будет ей представлен после службы; как он тогда посмотрит ей в глаза? Поведение его непростительно. Ведь он же видел ее неловкость и постепенно растущее негодование, но был настолько туп, что ничего не понял. Стыд угнетал его. И он решительно уставился на мистера Торренса, продолжавшего свои рассуждения на тему об «оправдании верой», — добрый старый пастор и не подозревал, что в действительности роль его сводилась к тому, чтобы служить для отвода глаз двум детям, играющим в древнюю игру — любовь с первого взгляда.

Сначала у Кристины стало легче на душе. Она уже не чувствовала, что выставлена на всеобщее обозрение. Право, все было бы ничего, если б только она не покраснела, как дурочка. Совершенно нечего было краснеть, пусть даже она и взяла в рот карамельку. Миссис Мак-Таггарт, жена церковного старосты у Святого Еноха в Глазго, все время сосет карамельки. А если он даже и поглядел на нее, что может быть естественнее для молодого джентльмена, чем обратить внимание на самую нарядную барышню в церкви? В то же время она отлично знала, что это вовсе не так, что взгляд его не был случайным, обыкновенным; он возвышал ее в ее собственных глазах, точно заслуженный орден. Ну, во всяком случае, слава богу, что он нашел себе другой предмет для разглядывания. Но вскоре у нее возникли новые мысли. Нужно исправить оплошность, повторив все, что было, но только без досадных промахов. Если мысли порождаются желаниями, она этого не сознавала и уж, во всяком случае, никогда бы в этом не призналась. Просто благопристойность требовала, чтобы она, дабы уменьшить значение того, что произошло, снова встретилась с ним глазами и на этот раз не покраснела. Но при воспоминании о том, как она покраснела, она покраснела опять и залилась горячим румянцем с головы до ног. Виданное ли дело, чтобы барышня держалась так нескромно, так развязно? Неизвестно из-за чего делает из себя посмешище для всего прихода! Она украдкой оглянулась: никто на нее даже не смотрел, а Клем, так тот и вовсе заснул. Но прежняя мысль не давала ей покою: благоразумие требовало, чтобы она еще раз посмотрела в его сторону, прежде чем кончится служба.

Нечто подобное происходило и в уме Арчи, угнетенного грузом раскаяния. Так получилось, что, когда наступил черед последнего псалма, когда Торренс объявил номер и все молитвенники зашуршали под торопливыми листающими пальцами, два трепетных взгляда, точно усики двух бабочек, потянулись над скамьями и склоненными головами сидящих, робко сближаясь в одну прямую линию между Арчи и Кристиной. Вот они соприкоснулись, застыли на какую-то долю мгновения, и этого оказалось достаточно. Кристину словно ударило электрическим током, и страничка в ее молитвеннике оказалась надорвана.

Арчи стоял у ворот кладбища, беседуя с Хобом и пастором и пожимая руки расходящимся соседям, когда к нему подвели Клема и Кристину. Молодой помещик сдернул шляпу и отвесил девушке низкий, изящный поклон. Кристина сделала молодому помещику глубокий городской реверанс и сразу же пошла дальше по дороге на Гермистон и Колдстейнслап, — она шла быстро и, разрумянившись, часто дышала, и на душе у нее было так странно, как бывает, когда человек охвачен тайной радостью и всякое обращенное к нему слово звучит для него обидным диссонансом. Часть пути она прошла вместе с какими-то соседскими девушками и одним деревенским кавалером; и никогда еще они не представлялись ей такими непереносимо глупыми, а она им — такой язвительной. Но постепенно попутчики сворачивали с дороги к своим жилищам или отставали, и вот уже Кристина, резкими словами отогнав от себя подбежавших племянников и племянниц, одна шагала вверх по склону Гермистонского холма, не чуя под собой ног от смутного, пьянящего чувства счастья. Немного не дойдя до вершины, она услыхала позади себя шаги — мужские шаги, легкие и очень торопливые. Она сразу узнала походку и пошла быстрее. «Если ему нужна я, то может и бегом добежать», — думала она с улыбкой.

Арчи нагнал ее и заговорил, как человек, принявший важное решение.

— Мисс Керсти, — начал он.

— Мисс Кристина, с вашего позволения, мистер Уир, — прервала она его. — Терпеть не могу этого сокращения.

— Вы забываете, что для моего уха оно звучит приятно. Ваша тетушка — мой старый и добрый друг. Я надеюсь, мы будем иметь счастье часто видеть вас в Гермистоне?

— Моя тетушка и моя невестка не очень ладят друг с другом. Мне, конечно, нет дела до их счетов. Но раз я живу в доме брата, ходить в гости к тетушке было бы нетактично.

— Мне очень жаль, — сказал Арчи.

— Все равно я весьма вам благодарна, мистер Уир, — промолвила она. — Я и сама думаю, что это очень жаль.

— О, я уверен, что вы сторонница мира! — воскликнул он.

— Ну, не скажите. И на меня иной раз тоже находит, как и на других.

— Знаете, в нашей старой церкви среди наших почтенных, сереньких старушек вы были словно солнечный луч.

— Это все мой туалет из Глазго.

— Не думаю, чтобы нарядное платье могло произвести на меня такое впечатление.

Она улыбнулась и посмотрела на него краешком глаза.

— Ну, на других, — сказала она. — Но я всего только Золушка. Мне придется все это сложить в сундук, и в следующее воскресенье я буду такая же серенькая, как все остальные. Это наряды для Глазго, постоянно носить их здесь не годится. Слишком уж бросается в глаза.

За разговором они успели подойти к тому месту, где их дороги расходились. Вокруг лежали серые вересковые пустоши; кое-где по ним бродили овцы; справа было видно, как, растянувшись, подымаются друг за другом в гору многочисленные жители Колдстейнслапа, а слева сворачивали с дороги и попарно, по трое скрывались за воротами парка обитатели Гермистона. На глазах у тех и у других они остановились попрощаться и обменялись взглядами,

протянув друг другу руки. Все сошло должным образом, как принято в свете; и в душе у Кристины, торопливо зашагавшей вверх по горной тропе, приятное сознание собственного торжества взяло верх над памятью о мелких промахах и ошибках. Она было подоткнула юбки, карабкаясь по каменистой дороге, но потом, исподтишка оглянувшись, заметила, что Арчи стоит и смотрит ей вслед, и желтый подол ее, словно по волшебству, упал на лодыжки. Вот вам урок хорошего тона, женщины и девушки горного захолустья, расхаживающие под дождем с высоко подоткнутым подолом и босиком бегающие в церковь по летней пыли, чтобы, сидя на камнях над ручьем, на глазах у всего честного народа омыть ноги, прежде чем переступить церковный порог. Он смотрел ей вслед! Из груди у Кристины вырвался глубокий вздох полнейшего довольства, и она бросилась бегом. Нагнав свое бредущее в гору семейство, она подхватила на руки племянницу, которую недавно от себя оттолкнула, расцеловала ее, отпустила и шлепком прогнала прочь, а сама, мелодично смеясь и вскрикивая, погналась за ней следом. Быть может, она думала, что молодой лэрд все еще на нее смотрит? Но случилось так, что резвящаяся Кристина попала на глаза тем, кто глядел на нее не столь благосклонно: она поравнялась с миссис Хоб, шагавшей в сопровождении Клема и Дэнда.

— Что это ты сама не своя, красавица, будто тебя околдовали? — недоуменно спросил Дэнди.

— Постыдилась бы, мисс! — одернула ее миссис Хоб. — Подобает ли барышне так вести себя по пути из церкви? Ты словно не в себе. Поберегла бы хоть нарядное платье.

— Ах, да что там! — отозвалась Кристина, обгоняя их с высоко поднятой головой и ступая по каменистой тропе с грацией дикой козочки.

Она была влюблена в себя, в свою судьбу, в свежий воздух холмов, в благословение солнца. Весь путь до дому она проделала, паря сердцем в головокружительном поднебесье. За столом она непринужденно обсуждала с родными молодого Гермистона, громким равнодушным голосом говорила, что он хорош собой, воспитан и как будто бы умен, жаль только, сумрачен. А память в это время рисовала ей его взгляд в церкви, и она смолкла, потупясь. Но этого никто не успел заметить. Она продолжала есть с аппетитом и смешить своими шутками родню за столом, так что в конце концов Гиб, который раньше их вернулся со своего моления в Кроссмайкле, упрекнул родных за неподобающее легкомыслие.

Все еще объятая радостным смятением, Кристина, напевая про себя, поднялась в маленькую мансарду с квадратным оконцем, где она спала с одной из племянниц. Девочка, вздумав воспользоваться хорошим настроением «тетечки», потянулась было за нею, но была бесцеремонно выставлена за дверь и отправилась в коровник, чтобы там, на сене, выплакать свою обиду. А Кристина, по-прежнему напевая, сняла городской наряд и предмет за предметом уложила свои сокровища в большой зеленый сундук. Последним в руке у нее оказался молитвенник; это была изящная книжица, подарок супруги Клема, с ясной старинной печатью на тонкой бумаге, пожелтевшей не от употребления, а от долгого лежания на складе, и Кристина обычно после воскресной службы аккуратно заворачивала ее в платок и аккуратно укладывала корешком вверх у стенки сундука. Но теперь молитвенник сам раскрылся на том месте, где была разорванная страница, и девушка задумалась, глядя на это свидетельство недавнего своего смятения. И снова в памяти у нее возникли два ясных, пристальных карих глаза, устремленных на нее из темноты церкви. Разорванная страничка молитвенника словно по волшебству нарисовала перед ней молодого Гермистона в той задумчивой позе, с таинственной полуулыбкой на губах, каким она увидела его впервые. «Да, да, меня и вправду будто околдовали!» — повторила она слова Дэнди, и радостное настроение вдруг покинуло ее. Она бросилась ничком на кровать и так пролежала, сжимая в руках молитвенник, несколько часов кряду, в оцепенении счастья и страха. Страх был неразумный, суеверный; зловещие слова Дэнди снова и снова приходили ей на ум, а с ними тысячи мрачных рассказов о таинственных событиях в здешних местах, придававшие убедительность народному выражению. А счастья она просто не сознавала. Мышцы и сочленения ее тела сознавали,

помнили, радовались, но ее собственное «я», охваченное светлым кольцом мысли, твердило, как в лихорадке, о чем-то постороннем, подобно истеричному человеку на пожаре. Всего благосклоннее она думала о мисс Кристине, в роли Кроткой Красавицы из Колдстейнслапа, наряженной в светло-желтое платье, лиловую накидку и желтые тоненькие чулки. С Арчи, когда он возникал в ее грезах, она обходилась не так приветливо, а порой и просто сурово. В долгих, подробных разговорах, которые она вела с воображаемыми, а иной раз и вообще неопределенными собеседниками, Арчи, когда о нем заходила речь, доставались самые ядовитые словечки. «Длинноногий аист», — говорилось о нем. «Уставился, как теленок». Или: «Настоящее привидение». «Разве же это хорошие манеры? — негодовала она. — Ну, я быстро поставила его на место: „Мисс Кристина, с вашего позволения, мистер Уир‟, — говорю я ему и только юбками тряхнула».

Такими мыслями она подолгу занимала себя, а потом взгляд ее вдруг падал на разорванную страницу, и глаза Арчи снова смотрели на нее из темного угла, и пустые слова иссякали, и она оставалась лежать без движения и без мыслей, молитвенно вперившись в пустоту и испуская время от времени тихие вздохи. Войди в это время в мансарду доктор медицины, он определил бы у этой здоровой, полнокровной и цветущей девушки, ничком лежащей на кровати, просто-напросто приступ дурного настроения, а вовсе не опасную болезнь духа, навлеченную дурным глазом и грозящую неотвратимой бедой и скорой гибелью. А будь это доктор психологии, не пришлось бы винить его, если бы он обнаружил у нее разыгравшееся детское тщеславие, верх самовлюбленности и ничего более. Следует иметь в виду, что здесь я пытался изобразить то, что не имеет образа, и выразить то, для чего выражения нет. Всякий мой штрих поэтому заведомо слишком точен, всякое слово слишком сильно. Представьте себе в горах придорожный столб со стрелками-указателями в пасмурный-пасмурный, клубящийся туманами день. Я только прочел едва различимые географические названия, имена далеких славных городов, быть может, залитых в эту минуту солнечным светом; но сама Кристина все это время как бы просидела у подножия столба, недвижимая и ослепленная зыбкими, колышущимися космами плывущего тумана.

День клонился к вечеру, и солнечные лучи полого тянулись из окон, когда она вдруг села и, аккуратно завернув молитвенник, уже сыгравший столь важную роль в первой главе ее романа, спрятала его в сундук. Теперь утверждают, что в отсутствие гипнотизера человек тоже может впасть в транс, если будет неотрывно глядеть на какой-нибудь блестящий предмет, например, на шляпку гвоздя. Так и порванный лист в молитвеннике оказал на нее гипнотическое действие, закрепив в ее памяти то, что иначе могло бы остаться незначительным и легко забыться. А слова Дэнди, прозвучавшие невзначай, но запавшие в душу, окрасили ее мысли, вернее, грезы, в торжественные и немного мрачные тона, привнесенные мыслью о вмешательстве судьбы, этого языческого, темного, незаконного и великого божества, участвующего, однако, и в делах верующих христиан. Так, даже такое явление, как любовь с первого взгляда, встречающееся столь редко и кажущееся простым и мгновенным, словно разрыв живой ткани, может быть разложено на ряд случайных совпадений.

Кристина надела серое платье, накинула на плечи розовый платочек и, одобрительно взглянув на свое отражение в квадратном зеркальце, заменявшем ей трюмо, медленно спустилась по лестнице и прошла через спящий дом, полный гулкого послеобеденного храпа. На пороге с открытой книгой в руке, не читая, а просто бездумно бодрствуя во славу святого воскресенья, сидел Дэнди. Она подошла и стала рядом с ним.

— Я иду гулять в горы, — сказала она.

Голос ее прозвучал проникновенно, и Дэнди поднял голову. Ее лицо было бледным, глаза темными и блестящими; от утренней веселости не осталось и следа.

— Вот как, малютка? Я вижу, у тебя, как и у меня, переменчивый нрав, — тихо произнес он.

— Почему ты это говоришь? — спросила она.

— Да так просто, — ответил Дэнд. — Только, по-моему, ты больше похожа на меня, чем все остальные. У тебя поэтическая душа, хотя, видит бог, поэтического таланта нет и в помине. Это нелегкий дар. Погляди на себя. За обедом ты была вся солнце, цветы и смех! А сейчас ты скорее похожа на вечернюю звезду над озером.

Она с жадностью впивала слова этого заезженного комплимента, и щеки ее зарделись.

— Я говорю, Дэнд, — повторила она, подойдя еще ближе, — что иду прогуляться в горы. Хочу подышать воздухом. Если Клем будет спрашивать меня, успокой его, ладно?

— А как? Я могу это сделать только одним способом: соврав, что у тебя болела голова.

— Но она у меня не болит.

— Конечно, не болит. Я сказал, что могу наврать, будто она у тебя болела. А если, вернувшись, ты меня опровергнешь, это не будет иметь особого значения, потому что мое доброе имя уже давно погублено безвозвратно.

— Ой, Дэнд, неужели ты враль?

— Так говорят люди, — ответил бард.

— Кто же это так говорит? — не отступалась она.

— Те, кому виднее, — пояснил он. — Девушки, к примеру.

— Ах, Дэнд, но мне ведь ты не будешь врать?

— Врать я предоставляю тебе самой, девчушка, — сказал он. — Ты тут же начнешь мне врать, лишь только обзаведешься сердечным дружком. Говорю тебе, мисс Керсти, вот посмотришь, стоит тебе обзавестись сердечным дружком, и это уже будет однажды и навсегда, до могилы. Уж я-то знаю, я сам был спервоначалу такой, да дьявол меня попутал! Ну ладно, ступай себе в горы, а меня оставь в покое. На меня как раз нашло вдохновение, да ты вот подвернулась и его спугнула.

Но она все медлила подле брата, сама не зная, почему.

— Поцелуй меня, Дэнд, ладно? — попросила она. — Я тебя всегда любила.

Он поцеловал ее и на минуту остановил на ней пристальный взгляд; в ней было что-то странное. Но он был человек вконец испорченный и ко всему женскому полу относился с одинаковым презрением и опаской, привыкнув мостить среди них себе дорогу льстивыми речами.

— Ступай, ступай, — сказал он. — Ты красотка хоть куда, вот и радуйся своему счастью.

Такой уж был у Дэнди обычай: поцелуй и конфетка малютке Дженни, медный грош и наилучшие пожелания баловнице Джилл — и прости прощай, весь ваш женский род! Если же дело было хоть сколько-нибудь серьезным, то заниматься им следовало мужчинам, таково было его глубокое убеждение. А женщины, если ты не влюблен, — это те же дети, и нужно гнать их от себя, чтоб не досаждали. Однако в качестве признанного знатока Дэнди все же посмотрел вслед удалявшейся сестре. «А малышка недурна, — подумал он удивленно, потому что, и награждая ее комплиментами, он до сих пор не удосужился толком на нее поглядеть. — Ого! А это еще что такое?» Он увидел, что короткое будничное платье серого цвета открывает ее стройные крепкие ножки в чулках розовых, как и косынка у нее на шее, игравшая яркими переливами на каждом шагу. Нет, это не был обычный будничный наряд. Кто-кто, а уж Дэнди знал, как одеваются девушки в его родных местах. Если не босиком, то они ходили в толстых шерстяных чулках неприметного темно-синего, а то и вовсе черного цвета. И при виде такого щегольства Дэнди начал кое о чем догадываться. Косынка у нее на плечах была шелковая, очевидно, чулки тоже. Они подходили по цвету, стало быть, были куплены специально. Несомненно, это подарок Клема, подарок дорогой, не предназначенный для носки по кустам и колючкам вечером после воскресной службы. Он присвистнул. «Вот что я скажу, моя

разлюбезная: либо ты совсем повредилась в уме, либо же тут кое-что происходит». И с этими словами он вновь погрузился в свои мысли, сразу же забыв о сестре.

Сначала она брела не спеша, но постепенно шаги ее убыстрялись, и она направилась прямо к своей цели — к Колдстейнслапскому Проходу. Это была неширокая седловина между двумя округлыми камнями, через которую пролегала кратчайшая дорога в Гермистон. По ту сторону внизу начиналось Ведьмино Поле, обширная заболоченная впадина между вершинами холмов, где рос приземистый можжевельник, били ключи и дремотно поблескивали окна черной торфяной воды. Здесь высокие холмы замыкали кругозор. Человек мог хоть сто лет просидеть на Камне Ткача-Богомольца и не увидеть ни живой души, кроме колдстейнслапских ребятишек, дважды в сутки бегущих в школу и обратно, мимохожего пастуха, вдруг словно из-под земли выпрыгнувшего клана овец да хриплоголосых птиц, вьющихся над ключами. И потому за перевалом Керсти ждали тишина и уединение. В Проходе она в последний раз оглянулась на свой дом — он был по-прежнему погружен в сон, только на пороге виднелась фигура Дэнди, что-то пишущего в тетради на коленях и, очевидно, охваченного наконец-то посетившим его вдохновением. Кристина быстро спустилась, прошла через Ведьмино Поле и остановилась там, где медлительный ручей вырывался на склон холма и бежал рядом с тропой, начинавшей спуск к Гермистону. Отсюда ей был виден весь склон, еще окрашенный бурыми тонами после минувшей зимы, и по нему вилась вдоль ручья тропинка, кое-где осененная купами берез у воды, а в двух милях дальше за оградой парка над полем молодых всходов пламенели закатным огнем окна Гермистона.

Здесь она уселась, и стала ждать, и долго-долго глядела на дальние горящие солнцем стекла. Она говорила себе, что ей приятно любоваться живописным видом, приятно разглядывать Гермистонский дом, всматриваться, не покажется ли кто из его обитателей. Вон кто-то неразличимый, наверное, садовник, прогуливается по дорожкам.

К тому времени, когда солнце закатилось и восточные склоны залило прозрачной тенью, она заметила, что какой-то человек то почти бегом, то словно в нерешительности замедляя шаги, подымается вверх по тропе. Сначала она просто следила за ним, затаив всякие мысли, как затаивают дыхание. Потом позволила себе узнать его. «Он не сюда идет, он не может идти сюда, это невозможно», — думала она, а сердце у нее замирало от радостного предвкушения. Сомнений быть не могло, он шел туда, где сидела она, нерешительность его исчезла, шаги сделались твердыми и быстрыми; и перед ней сразу же возник вопрос: как она должна поступить? Конечно, ее брат и сам лэрд, конечно, можно посчитаться родством, ну, например, через тетушку Керсти. Все это хорошо говорить. Но разница в их общественном положении была слишком ощутима. Приличие, благоразумие, все, чему ее учили, все, что она усвоила, — все велело ей бежать этой встречи. Но, с другой стороны, чаша жизни, поднесенная сейчас к ее губам, была чересчур соблазнительна. На какое-то мгновение вопрос показался ей простым и ясным, и она, не колеблясь, сделала выбор. Поднявшись на ноги, она темным силуэтом мелькнула на фоне заката между двух холмов и, отбежав по тропе, уселась, трепещущая, с пылающими щеками, на Камень Ткача-Богомольца. Закрыв глаза, она изо всех сил старалась победить волнение. Рука ее, упавшая на колени, дрожала, в голову приходили только неуместные, несвязные слова. Ах, да что же это она так разволновалась? Уж как-нибудь она за себя постоит. Ничего дурного во встрече с молодым лэрдом нет. Наоборот, даже хорошо, что так случилось. Она раз и навсегда укажет ему разделяющее их расстояние. Постепенно колесики ее души замедлили свое вращение, и вот она уже сидела и ждала смирно и спокойно — одинокая фигурка посреди серых мхов. Я сказал, что она не была притворщицей, но я допустил неточность. Она не признавалась себе, что пришла сюда, ища встречи с Арчи. Может быть, она даже и не знала этого, а просто пришла, как падает камень. Ибо шаги любви у молодых, в особенности у девушек, неосознанны, безотчетны.

Между тем Арчи торопливо приближался. Он, во всяком случае, вполне сознательно пришел сюда, чтобы быть поближе к ней. День у него прошел бессмысленно, впустую,

воспоминания о Кристине не давали ему читать и тянули из дому, словно веревками; наконец, когда спустилась вечерняя прохлада, он взял шляпу, буркнув что-то, вышел вон и свернул на тропу в Колдстейнслап. Он не надеялся увидеть девушку, он просто шел наудачу, чтобы как-то избавиться от гнетущего беспокойства. Тем больше было его изумление, когда, поднявшись по склону, он увидел перед собой на Ведьмином Поле, словно во исполнение своих желаний, тоненькую девичью фигурку в сером платье и розовом платочке, одинокую, беззащитную, затерянную в этом царстве мхов, грустно сидящую на вросшем в землю могильном камне. А вокруг то, что осталось от зимы, пожухло и стушевалось, а все, что возвещало весну, облачилось в яркие и нежные цвета. Даже на мертвом лике каменного надгробия проглянули перемены: старый мох в бороздках надписи зазеленел свежими изумрудами.

В последний момент Кристина накинула на голову уголок розовой косынки, и это получилось как нельзя более живописно — розовый шелк красиво обрамлял ее живое и в то же время слегка задумчивое лицо. Ноги она подобрала под себя и сидела бочком, опершись на обнаженную круглую крепкую руку с узким запястьем, мерцавшую белизной в угасающем свете.

В груди у молодого Гермистона похолодело. Он почувствовал, что вступает в такие области, где дело пойдет о жизни и смерти. Перед ним была женщина, одаренная таинственными способностями и соблазнами, царственная продолжательница человеческого рода. А он всего лишь заурядный молодой человек. Он отличался врожденной душевной тонкостью, которая до сих пор хранила его от грязи, но которая, хотя ни он, ни она не догадывались об этом, делала его еще более опасным, стоило только его сердцу всерьез пробудиться. С комком в пересохшем горле он приблизился к ней, но трогательная прелесть ее улыбки встала между ними, подобно ангелу-хранителю.

Ибо она поглядела на него и улыбнулась, хотя и осталась сидеть на камне. В этом был определенный оттенок этикета, не осознанный ни им, ни ею: он просто нашел, что встреча, которую она ему оказала, так же изящна и очаровательна, как и она сама; но даже и она при всей своей чуткости не подумала о том, что существует разница между тем, чтобы встать, здороваясь с лэрдом, или же сидя ожидать приближения поклонника.

— Вы держите путь в горы, Гермистон? — спросила она, называя его по имени его поместья, как это принято в тех краях.

— Да, вздумал было, — ответил он чуть хриплым голосом. — Но теперь я, кажется, дошел до конца моего пути. А вы тоже как я, мисс Кристина? Дома стены меня давили. Я пришел сюда, чтобы вздохнуть полной грудью.

Он сел на каменное надгробие с другой стороны и разглядывал ее, гадая, какая она на самом деле. Его вопрос прозвучал многозначительно и для нее и для него самого.

— Да, — ответила она. — Я тоже не могла оставаться под крышей. У меня такое обыкновение — приходить сюда на закате, когда становится тихо и прохладно.

— Такое же обыкновение было у моей матери, — сказал он грустно. Воспоминание о матери взволновало его. Он огляделся. — Я, кажется, и не бывал здесь с тех пор. Какое здесь царит безмолвие, — добавил он, глубоко вздохнув.

— Да, здесь не то, что в Глазго, — отозвалась она. — Там все суета, в этом Глазго. Но какой сегодня был день, словно нарочно по случаю моего возвращения! И какой восхитительный вечер!

— Правда ваша, день был чудесный, — сказал Арчи. — Мне кажется, я буду помнить его долгие-долгие годы, до самой могилы. В такие дни, не знаю, поймете ли вы меня, все представляется мне настолько быстротечным, хрупким и совершенным, что страшно прикоснуться. Мы здесь на такой краткий срок, и все, кто жили до нас, — Резерфорды из Гермистона, Эллиоты из Колдстейнслапа, — кто еще совсем недавно скакал на лошадях по этим тихим холмам, и оглашал их криками, и любил, и женился, — где они теперь? Это,

конечно, все избито, но ведь в конце-то концов что может быть избитее великих поэтических истин?

Он испытывал ее полусознательно, проверяя, понимает ли она его, не просто ли она изящное животное с яркой окраской цветка, есть ли у нее душа, чтобы сберечь и в будущем теперешнюю прелесть. А она, со своей стороны, по-женски во всеоружии выжидала случая поярче засиять, преисполниться его настроением, каково бы оно ни было. Актер, спящий или только наполовину бодрствующий почти в каждом человеке, распрямился в ее душе во весь рост, охваченный божественным огнем; и обстоятельства как нельзя лучше способствовали его успеху. Она глядела на Арчи тихим, сумеречным взглядом, который так подходил и к вечернему часу и к самому содержанию их разговора; сердечность лучилась в ней, подобно звездам на светлом закате; и глубокое, сдержанное волнение сообщало ее голосу, любому произнесенному ею слову трепетную звучность.

— Помните, как говорится в песне Дэнди? — промолвила она ему в ответ. — По-моему, он пытался выразить как раз то, о чем вы сейчас думаете.

— Нет, я никогда не слышал этой песни, — сказал он — Прочтите ее мне.

— Без мотива получится совсем не то.

— Тогда спойте.

— Это в воскресенье-то? Разве можно, мистер Уир?

— Боюсь, что я не так уж строго блюду день субботний, а больше никто вас здесь не услышит, разве только вот этот старый бедняк, что лежит под камнем.

— Я и сама не вижу в этом дурного, — сказала она. — По мне так эта песня не менее серьезна, чем псалмы. Я напою вам немножко, хотите?

— Пожалуйста, — попросил он и, придвинувшись к ней поближе, приготовился слушать.

Она подняла голову, набрала в грудь воздуху.

— Я только вполголоса напою, — предупредила она. — Мне страшно петь в воскресенье в полный голос: а вдруг птицы расскажут Гилберту? — улыбнулась она. — Это песня про Эллиотов, — продолжала она, — и, по-моему, в книжках не много найдется стихов красивее, хотя Дэнд никогда не печатался.

И она негромко запела низким чистым голосом, то переходя совсем на шепот, то выводя высокую ноту, которая звучала у нее особенно красиво и которую он всякий раз ожидал с замиранием сердца.

Гиком своим оглашали холмы
Средь бела дня и средь черной тьмы,
Снег ли, град или дождь проливной —
А нынче все спят в земле сырой.
О Эллиоты минувших дней,
Спящие каждый в могиле своей,
Не было в мире храбрее людей,
Чем Эллиоты минувших дней.

Все время, пока она пела, взгляд ее оставался устремлен прямо вперед, руки сложены на коленях, голова чуть запрокинута. Исполнение ее было безупречно — разве она обучилась ему не от самого автора, не под его строгим и придирчивым руководством? Кончив петь, она повернула к Арчи лицо, мерцающее легким светом, с лучистыми, нежно сияющими в сумерках глазами, и к горлу его подкатил комок, а сердце наполнилось безграничной жалостью и

теплом. Он получил ответ на свой вопрос: да, она была человеком, и человеком, чутким к звучаниям трагического в жизни; да, в груди у этой девушки были музыка, и величие, и большое, прекрасное сердце.

Он порывисто встал; она тоже. Ибо она понимала, что одержала победу и произвела еще более глубокое впечатление, чем прежде, и у нее достало ума немедленно покинуть поле своего триумфа. Оставалось только обменяться общепринятыми словами прощания, но взволнованные тихие голоса, которыми они были произнесены, придали и им в памяти священный смысл. В сгущающемся сумраке он стоял и смотрел, как она удаляется через Ведьмино Поле, — вот она остановилась у больших камней, в последний раз махнула ему рукой и скрылась из виду; и что-то вырвалось из самой глубины его сердца и птицей полетело за ней. Но что-то другое вошло в его сердце и поселилось в нем навеки. От дней далекого детства он сохранил воспоминание, хотя и сильно поблекшее с течением времени и избытком впечатлений, как его мать с дрожью в голосе и нередко со слезами рассказывала ему историю Ткача-Богомольца, приведя его прямо на место краткой трагедии и вечного упокоения бедного страдальца. Но теперь с этим же местом у него будет связано и другое воспоминание: перед его глазами навсегда сохранится легкая фигурка Кристины, сидящей на том же камне в сером вечернем свете, гибкой, изящной, совершенной, как цветок, и тоже поющей «О горестях забытых лет, о битвах давних дней» — об их общих предках, давно уже спящих мертвым сном, об их жестоких распрях, о славе их оружия, погребенного вместе с ними, и об их потомках, словно бы совсем им чужих, которые тоже скоро исчезнут с лица земли, и, может быть, о них тоже кто-нибудь споет в час, когда угасает день. Нежность своими тайными путями объединила обеих женщин в алтаре его памяти. И глаза его в наш благоразумный век наполнялись слезами при мысли и о той и об этой, так что юная девушка перестала быть просто ярким, изящным существом, а оказалась вознесенной в сферы жизни и смерти и его умершей матери. Так судьба хитро и коварно сыграла жизнями этих двух бедных детей. Основы были заложены в предыдущих поколениях, и страдания уже ждали их, прежде чем поднялся занавес этой сумрачной драмы.

В тот же миг, когда Кристина пропала из глаз Арчи в Колдстейнслапском Проходе, перед ней открылась чашеобразная впадина, в которой стоял ее родной дом. Внизу, футах в пятистах от нее, в окнах ярко горели свечи, и это послужило для нее напоминанием, что надо торопиться. Ибо свечи в ее доме зажигали только по воскресным вечерам, перед общесемейной молитвой, которая завершала непереносимо томительный день и служила как бы прелюдией к буднично-веселому ужину. Роберт уже, должно быть, сидел один во главе стола и выбирал главу из Библии — домашним священником, как и домашним судьей был у них глава семьи Роберт, а не богомольный Гилберт. Поэтому она со всех ног пустилась вниз по тропе и, задыхаясь, подоспела к крыльцу, где трое младших братьев, только что поднявшись от дневного сна, стояли на холодке, окруженные выводком племянников и племянниц, и разговаривали в ожидании, пока их позовут в дом. Она подошла и стала сбоку, вовсе не желая, чтобы ее поздний приход и учащенное дыхание были замечены остальными.

— Ты чуть не опоздала, Керсти, — сказал ей Клем. — Где это ты была, малютка?

— Так, гуляла одна, — ответила Керсти.

И братья продолжали беседу об американской войне, не обращая больше внимания на опоздавшую, а она стояла рядом под покровом вечерней темноты, вся наполненная трепетом счастья и сознанием своей вины.

Наконец был подан знак, и братья один за другим вошли в дом, теснимые толпой детворы.

Один только Дэнди задержался позади всех и, поймав за руку Кристину, шепотом спросил:

— С каких это пор госпожа Эллиот гуляет одна по горам в розовых чулках, а?

Керсти потупилась и вся залилась краской.

— Просто я, видно, забыла переодеться, — пробормотала она и поспешила на молитву в смятении духа; ей было страшно, а вдруг Дэнди заметил на ней днем желтые чулки и тем самым поймал ее на лжи, и в то же время стыдно, что так быстро подтвердилось его пророчество. Она помнила его слова о том, как будет, когда у нее появится сердечный дружок, — однажды и навсегда, он сказал, до могилы. «Может быть, у меня и вправду появился сердечный дружок?» — думала она с тайным ликованием.

Все время, пока читались молитвы, она думала только о том, как бы скрыть розовые чулки от равнодушного взгляда миссис Хоб; и в продолжение всего ужина, когда она, таясь и сияя, сидела за столом и притворялась, будто ест, и потом, когда, оставив их, она поднялась к себе в комнатку под крышей и оказалась одна в обществе спящей племянницы и могла наконец сложить с себя доспехи благовоспитанности, — все время в голове у нее звучали одни и те же слова, раздавалась одна глубокая нота — нота счастья, нота преображения всего мира, всей природы, нота дня, проведенного в раю, и ночи, которая будет как сами распахнутые небеса. Всю ночь ее уносил в страну блаженства быстрый и мелкий поток не то забытья, не то бодрствования; всю ночь в душе ее билось сладостное предвкушение; и если под утро она ненадолго погрузилась в более глубокий сон, то лишь затем, чтобы с первым же проблеском пробуждения снова зажечься радугой знакомых грез.

ГЛАВА VII. НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ МЕФИСТОФЕЛЬ

Два дня спустя кабриолет из Кроссмайкла доставил к воротам Гермистона Фрэнка Инниса. Как-то минувшей зимой в минуту неизбывной скуки Арчи написал ему письмо. В нем содержалось нечто вроде приглашения или ссылки на прежде высказанное приглашение, — точно уже не помнил ни тот, ни другой. Когда Иннис получил письмо, у него и в мыслях не было заживо похоронить себя вместе с Арчи среди вересковых холмов; но даже и проницательнейшие тактические умы порой продвигаются по ступеням жизни не с безупречной прямизной. Для этого потребовался бы талант провидения, а он человеку не дан. Кто, к примеру, мог предполагать, что не пройдет еще и месяца со времени получения письма, над которым он сначала посмеялся, на которое медлил с ответом и которое под конец затерял, как мрачные тени беды начнут сгущаться над карьерой Фрэнка? Вкоротке произошло с ним следующее. Его отец, мелкий морейширский помещик, обремененный многочисленной семьей, вдруг уперся и приостановил выплату сыну содержания; а Фрэнк успел обзавестись весьма приличной юридической библиотекой, которую и вынужден был в связи с понесенными на скачках непредвиденными потерями продать, не посчитавшись с тем, что за нее еще не было заплачено; вследствие чего книгопродавец, прослышавший кое-что о такой сделке, выправил ордер на его арест. Иннис был уведомлен об этом заблаговременно и мог принять меры предосторожности. В этот час бедствия под нависшей угрозой неприятного судебного разбирательства он почел за благо немедленно исчезнуть и, отправив отцу красноречивое письмо, не откладывая, сел в почтовую карету до Кроссмайкла. В бурю хороша любая гавань. Фрэнк Иннис мужественно покинул Парламент и веселый гул судебных залов, покинул портер и устриц, скачки и кулачные бои и столь же мужественно приготовился, впредь до того времени, когда тучи на его небосклоне разойдутся, делить с заживо погребенным Арчи Уиром его могилу в Гермистоне.

Надо отдать ему должное, для него самого этот приезд в Гермистон был столь же неожиданным, как и для Арчи; но он справился с собственным изумлением гораздо успешнее и несравненно тактичнее, чем его хозяин.

— Ну, вот и я! — произнес он, ступив на землю. — Пилад наконец прибыл к Оресту. Да, кстати, ты ведь получил мой ответ? Не получил? Какая досада! Впрочем, вот я сам вместо ответа, а это еще лучше.

— Я, разумеется, очень рад тебя видеть, — ответил Арчи. — Милости прошу, конечно. Но ты же не собираешься гостить у меня, когда суды еще заседают? Ведь это было бы крайне неразумно с твоей стороны.

— А, к черту суды! — сказал Фрэнк. — Что стоят все суды в сравнении с дружбой и рыбной ловлей?

Так Фрэнк остался в Гермистоне на неопределенный срок, пределом которому он втайне про себя назначил тот день, когда его папаша наконец раскошелится и можно будет умиротворить книгопродавца. И на таких-то неоговоренных условиях для этих двух молодых людей, которые не были даже друзьями, началась совместная жизнь — бок о бок, но день ото дня все отчужденнее. Они встречались за столом, сходились вечерами, в час горячего грога; но можно было заметить, если бы, конечно, было кому замечать, что днем они почти не бывали вместе. У Арчи были хозяйственные заботы в Гермистоне и всевозможные дела в горах, куда брать Фрэнка он не только не видел нужды, но и прямо отказался. Иногда он уезжал из дому с самого утра, оставляя на накрытом к завтраку столе лишь короткую записку; а иногда безо всякого уведомления не появлялся дома в срок к обеду. Иннис кряхтел. Нужны были в высшей степени философский взгляд на вещи, чтобы не поддаться раздражению, усаживаясь в одиночестве за завтрак, и все его природное добродушие, чтобы дружески приветствовать Арчи в тех более редких случаях, когда тот опаздывал к обеду.

— Интересно, какие это занятия он для себя находит, госпожа Эллиот? — спросил он однажды утром, прочитав очередную записку и садясь за стол.

— Я полагаю, у него какое-то дело, сэр, — сухо ответила домоправительница, легким подобием реверанса давая ему понять о существующей между ними дистанции.

— Но какие могут быть дела, ума не приложу! — не отступался Фрэнк.

— Я полагаю, это — его дело, — пояснила суровая Керсти.

Он поглядел на нее с искренней веселостью, составлявшей главную привлекательную черту его характера, и разразился звонким, здоровым смехом.

— Ай да госпожа Эллиот! Крыть нечем! — воскликнул он, и на каменном лице грозной экономки проглянула тень улыбки. — Нечем крыть! — повторил он. — Но, право, зачем делать из меня уж совсем чужого человека? Ведь мы с Арчи еще в школе учились вместе, и в колледже тоже, и вместе готовились в адвокаты, пока… ну, сами знаете. Ах, ах! Какая же это была жалость! Вся жизнь погублена, такой прекрасный молодой человек заживо похоронен в этой деревенской глуши, а все из-за чего? Из-за какой-то шалости, неуместной, согласен, но ведь не более того. Боже, как хороши ваши лепешки, госпожа Эллиот! Объеденье!

— Это не мои лепешки, их пекла девушка, — ответила Керсти. — И уж вы меня не обессудьте, но не следует всуе поминать имя господне, когда говоришь всего лишь о пище телесной, которой только брюхо набивают.

— Совершенно справедливо, сударыня, — как ни в чем не бывало согласился Фрэнк. — Так о чем, бишь, я? Ах, да. Ужасно досадно, что так получилось с бедным Арчи. По-моему, нам с вами, как людям разумным, самое время вместе пораскинуть мозгами и как-то спасти его из этого положения. Можете мне поверить, сударыня, Арчи действительно очень способный молодой человек, и, на мой взгляд, из него получился бы превосходный адвокат. Что до его отца, то никто, конечно, не сомневается в его учености, но и никто не рискнул бы отрицать, что у него дьявольски тяжелый характер.

— Прошу простить меня, мистер Иннис, но меня, кажется, девушка кличет, — прервала его Керсти и поспешила вон из комнаты.

— У, старая злобная швабра! — буркнул Иннис ей вслед.

Тем временем Керсти, укрывшись в кухне, дала выход своему гневу перед присмиревшей вассалкой:

— Вот что, негодница! Можешь сама прислуживать этому своему Иннису! Я за себя не отвечаю. «Бедный Арчи»! Уж я б ему показала «бедного Арчи», будь моя воля. А у Гермистона, видите ли, дьявольски тяжелый характер. Господи, хоть бы прожевал сначала Гермистонову

лепешку! Да и у старшего и у меньшого Уира в одном волоске больше толку и силы, чем во всем его худосочном теле! Со мной вздумал вести свои поносные речи! Пусть возвращается к себе в город, может, там ему будут рады, пусть разъезжает там в коляске, мажет голову помадой и знается с дурными женщинами… Фу, мерзость!

Невозможно было не восхищаться этим потоком все возрастающего негодования, нельзя было равнодушно слушать ее несколько беспочвенные обвинения. Но вот Керсти вспомнила, к чему это все говорилось, и снова набросилась на свою потрясенную слушательницу:

— Ты что, не слышишь, что я тебе говорю, чучело гороховое? Или ты слов не понимаешь? Что же, мне метлой тебя к нему гнать? Смотри, я тобой еще займусь, красотка!

Тут маленькая служанка спаслась бегством из кухни, где находиться дольше было просто опасно, и появилась в главной гостиной, дабы прислуживать там сидевшему за столом Иннису.

Tantaene irae? [note 5] Читатель не догадывается? С приездом Фрэнка прекратились вечерние беседы над подносом с ужином. Все его льстивые уловки были заранее обречены на провал; Фрэнк Иннис сразу и бесповоротно впал у госпожи Эллиот в немилость.

И все же странно, что неудачи так упорно преследовали его во всех попытках расположить к себе обитателей Гермистона. А ведь я должен предостеречь читателя, чтобы он не особенно доверял эпитетам Керсти, которая больше заботилась о силе своих выражений, чем об их справедливости. Скажем, «худосочный». Ничто не могло быть дальше от истины. Фрэнк был само цветущее здоровье и мужество, сама жизнерадостная молодость. У него были блестящие глаза с озорной лукавинкой, курчавые волосы, очаровательная улыбка, белоснежные зубы, красиво посаженная голова, облик подлинного джентльмена и замашки человека, привыкшего нравиться с первого взгляда и покорять в дальнейшем знакомстве. И при всех этих достоинствах он терпел в Гермистоне поражение за поражением: у неразговорчивого овчара, у кроткого управляющего, у конюха, в обязанности которого входило также вспахивать поле, у садовника и у его сестры, богомольной унылой женщины, вечно кутавшейся в теплую шаль, — со всеми ему решительно и бесповоротно не везло. Его не любили и не скрывали этого. Единственное исключение представляла маленькая служанка — она его боготворила, может быть, даже видела его по ночам во сне; но она привыкла молча выслушивать яростные тирады Керсти и столь же молча терпеть ее тумаки и была для своего возраста не только большой искусницей, но также и ужасной скрытницей и дипломаткой. Фрэнк знал, что имеет в ее лице единственного союзника и доброжелателя среди явного неодобрения всех, кто окружал его, не спускал с него глаз и прислуживал ему в Гермистоне. Но ему было мало проку и утешения от такого союзничества: двенадцатилетняя тихоня служаночка была себе на уме; расторопная, услужливая, внимательная, она помалкивала, словно воды в рот набрала. Что до остальных, то они все были безнадежны и просто непереносимы. Никогда еще юный Аполлон не был обречен терпеть общество столь грубых деревенских варваров. Причина его неуспеха у них заключалась, по-видимому, в одной его привычке, которой он сам за собой, вероятно, не знал, и, однако, вполне для него характерной. Стремясь привлечь к себе кого-то, он этому человеку как бы приносил в жертву другого. Он всегда предлагал вам союз с ним против кого-нибудь третьего; льстил вам тем, что высмеивал этого третьего, и вы, оглянуться не успев, оказывались втянуты в своего рода заговор. Такой прием вообще удивительно действен, но на этот раз Фрэнк допустил ошибку в выборе этого третьего лица. Он забыл о благоразумном расчете и просто внял голосу собственного раздражения. Он был с самого начала уязвлен тем, как он считал, суховатым приемом, который оказал ему Арчи, и был многократно утвержден в своей обиде его столь частыми отлучками. Да к тому же, кроме Арчи, у него никого и не было под рукой, и вполне естественно, что именно для его домочадцев он предназначил раскинутые силки своего сочувствия. Но здесь-то он и просчитался. В Гермистоне обоим Уирам — и отцу и сыну — были безоговорочно преданны. Милордом гордились: шутка ли быть из вассалов самого «Судьи-Вешателя»; и его грубые,

устрашающие остроты находили по соседству с его домом сколько угодно ценителей. А к Арчи питали привязанность и уважение, не терпящие ни в ком непочтительного слова.

Не добился Фрэнк успеха и тогда, когда стал предпринимать вылазки по соседству. Четырем Черным Братьям он пришелся решительно не по вкусу. Хоб нашел его вертопрахом, Гиб — безбожником, Клем, познакомившийся с ним дня за два до отъезда в Глазго, поинтересовался, «чем этот молодчик здесь занимается, пока там идет сессия суда?», и объявил его трутнем. Что же касается Дэнди, то довольно будет описать их первое знакомство, происшедшее у ручья, где Фрэнк как раз мутил удочкой воду, а деревенский бард случайно проходил мимо.

— Я слышал, вы поэт? — снисходительно обратился к нему тогда Фрэнк.

— От кого это вы слышали, юноша? — осведомился тот.

— Да все говорят.

— Бог мой, вот она, слава! — сардонически произнес служитель муз и пошел своей дорогой.

К слову сказать, здесь, пожалуй, можно найти более верное объяснение неуспехов Фрэнка Инниса. Повстречайся ему шериф Скотт, уж он бы сказал ему какой-нибудь по-настоящему приятный комплимент, ибо знакомством с мистером Скоттом пренебрегать не приходилось. А за Дэнди он не дал бы и медного гроша и, хотя намерен был сказать любезность, не сумел скрыть своего пренебрежения. Снисхождение похвально, спору нет, странно только, что удовольствие от него носит односторонний характер. Кто вздумает на такую приманку удить среди жителей Шотландии, наверняка останется с пустой корзиной.

В подтверждение этой теории скажем, что Фрэнк имел несомненный успех в Кроссмайклском клубе, в который его сразу же по приезде отвел Арчи, с тех пор не показывавшийся в этом центре веселья. Фрэнк был принят там очень сердечно, сделался исправным посетителем всех сборищ и даже (как любили вспоминать члены Клуба) принимал участие в пирушке накануне своей гибели. Снова Гермистон посетили молодой Гэй и молодой Прингл. Снова был дан ужин в Уиндилоу и обед в Дриффеле, и следствием было то, что Фрэнк снискал у кроссмайклского света любовь, столь же сильную, какой была неприязнь к нему фермеров и лэрдов. Он расположился в Гермистоне, подобно завоевателю во вражеской столице. Отсюда, как из военного лагеря, он делал постоянные вылазки на пикники, ужины и званые обеды, на которые Арчи не приглашали или на которые он не желал ходить. Тогда-то за Арчи и закрепилось прозвище «Затворник». Говорят даже, что его придумал Иннис; во всяком случае, Иннис дал ему широкий ход.

— Ну, как поживает нынче ваш затворник? — спрашивали его.

— Да знай себе затворничает! — отвечал Иннис с видом необыкновенного остроумца. И сразу же останавливал взрыв смеха, вызванного не столько самим его ответом, сколько комическим выражением лица: — Вам-то, конечно, легко смеяться. А я не вижу причины для веселья. Бедняга Арчи — хороший парень, превосходный парень, я всегда его любил. По-моему, это малодушие с его стороны — так переживать какую-то маленькую неприятность и прятаться от людей. Я ему всегда говорю: «Ну, хорошо, ты свалял дурака, ну, опозорился немного, но будь же мужчиной! Переживи и забудь». Но нет, ни в какую. Конечно, виной всему одиночество, да и позор — его можно понять. Но, честно признаюсь, я опасаюсь за последствия. Жаль, если такой способный, одаренный человек, как Уир, плохо кончит. Я серьезно подумываю написать лорду Гермистону и все ему изложить.

— Я бы и написал, будь я на вашем месте, — говорил, покачивая головой, кто-нибудь из его слушателей, смущенный и обескураженный таким новым взглядом на дело.

— Прекрасная мысль! — говорили все, дивясь про себя смелости и очевидной влиятельности этого молодого человека, который, как о чем-то само собой разумеющемся, говорил о том, чтобы написать Гермистону и дать ему ряд наставлений в его семейных делах.

А Фрэнк с лестным доверием к собеседникам продолжал:

— Я сейчас вам все объясню. Он, например, просто вне себя оттого, что я везде принят, а он нет. Вне себя от зависти. Я уж с ним и так и эдак, уговариваю его, объясняю, что все к нему очень расположены, говорю даже, что меня зовут только потому, что я его гость. Но все бесполезно. Он уперся и ни за что не принимает приглашений, которые получает, а когда его не приглашают, дуется. Боюсь, как бы его рана не стала незаживающей язвой. Он всегда был, знаете, натурой скрытной, раздражительной, сумрачной — что называется, желчной. Должно быть, унаследовал характер Уиров, которые были, наверно, где-то там у себя на родине почтенными, трудолюбивыми ткачами. Как это говорится? Сидячая профессия. Именно с таким характером человек особенно легко может свихнуться, оказавшись в ложном положении, вроде того, что создал для него отец или он сам себе создает, не знаю уж, как правильнее будет сказать. И, по-моему, — великодушно заключал Фрэнк, — это просто стыд и позор.

С течением времени заботливое сочувствие этого бескорыстного друга принимало все более определенные формы. Теперь в доверительных беседах с глазу на глаз он стал делать намеки на плебейские замашки и постыдные привычки молодого Уира. «Честно сказать, я опасаюсь, как бы он совсем не опустился, — говорил Фрэнк. — Признаюсь, но только между нами, мне даже неприятно здесь дольше оставаться; но я просто не могу бросить его в одиночестве. Вот посмотрите, меня же потом все и осудят. Для меня пребывание здесь — немалая жертва, я делаю это во вред своей карьере, мне ли этого не понимать? Но я боюсь, на меня же потом будут вешать всех собак. Ведь в дружбу-то теперь никто не верит.

— Это очень благородно с вашей стороны, Иннис, — прерывал его тут собеседник. — Можете не сомневаться, если пойдут разговоры, уж я-то всегда замолвлю за вас доброе слово.

— Прямо скажу, — продолжал Фрэнк, — приятного тут мало. Он всегда был достаточно нелюбезен в обращении, — знаете, сын своего отца… Я не хочу сказать, что он груб — этого бы я, понятно, никогда не стерпел, — но он все время только что не переходит границ. Нет-нет, приятного мало; но говорю вам, мой друг, мне совесть не позволяет его оставить. Поймите, я не хочу сказать, что имеются явные признаки. Я только говорю, что мне не нравится, к чему все идет, нет, не нравится! — И Фрэнк доверительно сжимал локоть своего слушателя.

Я склонен думать, что поначалу все это совершалось без злого умысла. Он просто упражнялся в красноречии. Будучи от природы боек на язык, как и пристало молодому адвокату, и от природы же совершенно безразличен к истине, что характерно для человека глупого, он просто нес, что взбрело на ум. И не преследовал при этом никакой определенной цели, как только выставить себя в выгодном свете и возбудить интерес и сочувствие собеседника. Но так, болтая языком, он постепенно нарисовал законченный портрет, который стал известен во всех уголках графства. Всюду, где только ни возвышался барский дом за каменной оградой или бедный замок с парком, всюду, где приземистый деревенский коттедж в тени развалин сторожевой башни свидетельствовал об упадке старинного рода, или роскошная вилла с живыми изгородями и подъездом для экипажей вещала о возвышении нового рода (быть может, вознесенного к успеху городскими машинами), — повсюду на Арчи стали смотреть как на человека, с которым связана какая-то мрачная, а может быть, и преступная тайна и от которого в будущем, как утверждалось шепотом и с оглядкой, ничего хорошего ожидать не приходилось. Он совершил какой-то постыдный поступок, говорю вам точно. Что именно, никто толком не знает, и этот милейший молодой человек мистер Иннис всячески пытается представить дело в легком свете. Но дыма-то без огня не бывает. И мистер Иннис теперь очень за него тревожится, прямо опасается, как бы не вышло худа. Он губит свою карьеру, потому что не может решиться бросить друга в беде.

Как часто целая судьба зависит от одного болтуна и притом вовсе не обязательно злонамеренного! И если человек умеет поговорить о себе, мимоходом упоминая о своих заслугах и вовсе даже не называя их заслугами, как часто такие показания принимаются на веру судом общественного мнения!

Но все это время в душах обоих юношей подспудно бродила закваска еще более глубокой вражды, вступившей в действие позже, но влиявшей на их отношения чуть не с первого дня. Все, что пахло тайной, было неодолимо привлекательно для праздной, мелкой, легкомысленной натуры Фрэнка Инниса. Он жаждал поиграть ею, как ребенок игрушкой, — самое ее существование было для него вызовом, так как он, подобно многим молодым людям, избравшим судейскую карьеру и еще не убедившимся на практике в своем ничтожестве, почитал себя очень проницательным и умным. Тогда еще не знали о Шерлоке Холмсе, но было много разговоров о Талейране. И если бы вы спросили у Фрэнка, в минуту искренности он самодовольно признался бы, что считает себя больше всего похожим на князя де Талейрана-Перигора.

Любопытство его пробудилось, когда Арчи впервые не появился за завтраком. Оно необъятно возросло, когда Керсти с таким явным неодобрением отнеслась к его расспросам; и в тот же вечер произошло еще одно событие, окончательно поставившее все на свои места. Они с Арчи удили у ручья, как вдруг Арчи поглядел на часы и сказал:

— Ну, всего доброго. Мне надо идти. Увидимся за обедом.

— Погоди! — крикнул Фрэнк. — Сейчас, вот только смотаю удочку. Я пойду с тобой. Мне уже осточертело сидеть над этой канавой.

И он принялся наматывать лесу на катушку.

Сначала Арчи не мог произнести ни слова. Он растерялся от такой внезапной атаки; но к тому времени, когда он овладел собой и леса была почти смотана, он уже был Уиром с головы до ног, и сквозь его молодые черты проглядывало грозное лицо «Судьи-Вешателя». Он ответил сдержанно, даже любезно, но и ребенку стало бы ясно, что решение его принято и останется неизменным.

— Прости меня, Иннис, я не хочу быть невежливым, но давай поймем друг друга раз и навсегда. Когда я буду нуждаться в твоем обществе, я тебе об этом скажу.

— Вот как! — произнес Фрэнк. — Значит, ты не нуждаешься в моем обществе?

— Как видно, сейчас нет, — ответил Арчи. — Я даже указал тебе время, когда буду в нем нуждаться: за обедом. Если мы с тобой хотим жить в мире и дружбе — а я не вижу причины нам ссориться, — мы не должны позволять себе вмешиваться…

— Э-э! Это уж слишком! Такого я ни от кого не потерплю. Так-то ты обращаешься со старым другом и своим гостем?

— Лучше ступай домой и поразмысли над тем, что я тебе сказал, — твердо продолжал Арчи. — Подумай хорошенько, прав я или нет и было ли в моих словах что-либо оскорбительное. А за обедом давай встретимся, как будто между нами ничего не произошло. Если угодно, я могу сказать так: я знаю свой характер, я с радостью, можешь мне поверить, думаю о том, как ты будешь гостить у меня много дней, и просто заранее принимаю меры предосторожности. Я предвижу, на чем мы с тобой можем столкнуться — пусть по моей вине, согласен, — и забочусь загодя, чтобы этого не произошло, и obsto principiis note 6. Ставлю пять фунтов, что в конце концов ты сам убедишься, что я руководствуюсь намерениями самыми дружественными, и, право же, Фрэнки, так оно и есть, — заключил он несколько мягче.

Не в силах вымолвить от злости ни слова, Иннис вскинул удочку на плечо, махнул рукой и зашагал вниз по течению ручья. Арчи стоял, не двигаясь, и смотрел ему вслед. Ему было неприятно, но он не чувствовал себя неправым. Он сожалел о том, что вынужден был нарушить правила гостеприимства, но в одном отношении он был полностью сыном своего отца: он был твердо убежден, что его дом — это его дом, и не собирался подчинять свою жизнь прихотям гостя. Он сожалел, что вынужден был говорить так резко. Но Фрэнк был сам виноват. Прояви Фрэнк хоть немного обыкновенной деликатности, он, Арчи, был бы с ним неизменно любезен. Кроме того, существовало еще одно соображение. Секрет, о сохранении которого он заботился, принадлежал не ему одному: это был и ее секрет, той, чье имя не произносилось, но чья власть

над его душой возрастала с каждым днем, той, которую он готов был защищать любой ценой, гори огнем города.

Арчи проводил Фрэнка глазами до самого Свинглбернфута, то теряя его из виду на темном фоне нерасцветшего вереска, то вновь обнаруживая вдалеке его уменьшившуюся до лилипутских размеров пышущую гневом фигуру, и с улыбкой пожал плечами. Либо Фрэнк уедет, и это будет вовсе не плохо, либо останется, и придется терпеть его и дальше. Теперь можно было кружными тропками, укрываясь за гребнем холма и карабкаясь по ложу ручья, поспешить туда, где в заветном месте, у одинокой могилы стойкого кальвиниста, над которой с криками кружили зуйки и ржанки, в нетерпении ждала его Керсти.

А Иннис продолжал свой путь под гору, кипя негодованием, которое можно понять, но которое, однако, постепенно уступало соображениям чисто практическим. Он проклинал Арчи — бессердечного, себялюбивого, грубого мужлана — и проклинал себя за то, что, как последний дурак, приехал в Гермистон, когда для него открыты двери чуть ли не любого дома в Шотландии. И, однако, что сделано, того уже не изменишь! У него нет денег на переезды; и так придется занимать у Арчи, когда он в следующий раз отправится в Клуб; при всем своем дурном мнении о манерах негостеприимного товарища он не сомневался в его щедрости. Вообще сходство Фрэнка с Талейраном представляется мне скорее вымышленным, однако и сам Талейран не мог бы успешнее применяться к обстоятельствам. За обедом он встретился с Арчи вполне мирно, почти сердечно, словно говоря: что ж, друзей нужно принимать такими, как они есть. Не вина Арчи, что он сын своего отца и внук своего гипотетического дедушки-ткача. А сын плебея, естественно, и сам плебей, от него не приходится ждать истинного благородства и воспитанности. Зато у него есть свои достоинства, которыми Фрэнк может пока что пользоваться, но для этого необходимо держать себя в руках.

И он так успешно держал себя в руках, что, когда проснулся на следующее утро, голова его была полна мыслями о другом предмете, хотя и связанном с вчерашним происшествием. Что такое у Арчи на уме? Почему он избегает его, Фрэнка, общества? Что он от него прячет? Возможно ли, что он ходит тайком на свидания? Может быть, на свидания с женщиной? Вот прекрасный случай поразвлечься, а заодно и отплатить за обиду — взять да и выследить его! И он приступил к делу с величайшим терпением, которое немало удивило бы его друзей, ибо среди них он слыл человеком блестящих способностей, а вовсе не упорного трудолюбия. И постепенно, понемножку, упрямо продвигаясь от одного к другому и сопоставляя факты, он наконец смог представить себе истинное положение вещей. Прежде всего он заметил, что, хотя уходит Арчи в самых разных направлениях, возвращается домой он всегда из-за одной и той же горы примерно на юго-западе от Гермистона. Внимательно рассматривая карту и принимая в соображение, что в этой стороне чуть не до самых истоков Клайда тянутся редко населенные вересковые холмы, он остановил свой выбор на Колдстейнслапе и двух соседних фермах: Кингсмурсе и Полинтарфе. Но дальше дело пошло труднее. Вооружившись удочкой для отвода глаз, он побывал во всех трех местах, но не добился ровным счетом ничего: нигде в окрестностях этой троицы ничего подозрительного им обнаружено не было. Лучше всего было бы пойти потихоньку следом за Арчи, однако при здешнем ландшафте об этом и думать не приходилось. Тогда он избрал другой способ: засел в укромном уголке и стал следить за Арчи в подзорную трубу. Впрочем, и это ничего не дало, бесплодные наблюдения наконец прискучили ему, он забросил подзорную трубу и уже готов был отказаться от своих замыслов, как вдруг обстоятельства прямо свели его с той, которую он искал. В первую неделю Керсти сумела уклониться от воскресного посещения церкви, сославшись на вымышленное нездоровье, бывшее в действительности не чем иным, как робостью: встреча с Арчи слишком много для нее значила и вызывала слишком уж очевидное волнение, чтобы происходить на людях. Два следующих воскресенья Фрэнк сам отсутствовал, гостя где-то по соседству. Поэтому он обнаружил существование красавицы лишь через четыре недели после своего прибытия в Гермистон. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы исчезли всякие

сомнения. Она явилась в церковь вместе с обитателями Колдстейнслапа и, следовательно, жила там. Вот он, секрет Арчи, вот она, таинственная женщина! И, смело скажу — хотя здесь мне приходится особенно тщательно выбирать оттенки слов, — Фрэнк с первого же взгляда решился вступить в соперничество с Арчи. Отчасти это было назло, отчасти в отместку и в большой мере как дань искреннего восхищения, — сам черт едва ли разберет, чего тут было больше, а я не знаю, да и Фрэнк, вероятно, тоже не знал.

— Весьма прелестная скотница, — заметил он, когда они шли домой.

— Кто это? — не понял Арчи.

— Да вон та девушка, на которую, как я замечаю, ты сейчас смотришь. Во-он, идет вперед нас по дороге. Она приходила под эскортом вашего деревенского барда и, следовательно, насколько могу судить, принадлежит к его высокому роду. И это единственное, что можно против нее возразить, ибо с Четырьмя Черными Братьями иметь дело не слишком-то приятно. Чуть что не так, и Клем наденет кольчугу и шлем, Дэнди собьет тебя с ног, как брэнди, Хоб пробьет тебе лоб, вмешается Гиб, и ты погиб. Забот полон рот от семейства Эллиот.

— В высшей степени остроумно, — заметил Арчи.

— Стараюсь, — подхватил Фрэнк. — Право, это нелегко в ваших местах и в твоем ученом обществе, мой любезный друг. Но признайся, что прелестная скотница и на тебя произвела благоприятное впечатление, или же расстанься навсегда с репутацией человека, обладающего вкусом.

— Какие пустяки, — ответил Арчи.

Но его собеседник продолжал с любопытством разглядывать его, и под этим настойчивым взглядом румянец на его лице становился все гуще, пока, наконец, даже бесстыдный лгун не решился бы отрицать, что он краснеет. И тут Арчи на минуту утратил самообладание.

— О господи! — воскликнул он, перехватив палку из левой руки в правую. — Да не будь ты таким ослом!

— Ослом? Замечание, несомненно, весьма изысканное, — отозвался Фрэнк. — Но, дорогой мой, смотри берегись домотканых братьев. Стоит им появиться на сцене, и ты тогда увидишь, кто осел, а кто нет. Ведь если бы они употребили хотя вполовину столько смекалки, сколько я, чтобы выяснить, чем это занят вечерами мистер Арчи и почему он так непритворно звереет, когда касаются некоей запретной темы…

— Ты касаешься ее сейчас, — нахмурившись, прервал его Арчи.

— Благодарю. Это — все, что мне было нужно: недвусмысленное признание.

— Позволь напомнить тебе…

— Ни слова, мой друг, — в свою очередь, прервал его Фрэнк. — Ничего не нужно говорить. Все забыто и похоронено.

И Фрэнк поспешно направил разговор в другое русло — искусство, которым он владел прекрасно, ибо таков уж был у него талант: красно говорить о любом предмете и даже вообще без предмета. Но хотя Арчи — из снисхождения или по робости — не препятствовал ему болтать всю дорогу, Фрэнк вовсе не собирался ничего забывать. За обедом он многозначительно осведомился у Арчи, как идут дела «в Колдстейнслапской стороне». А после обеда первый стакан портвейна он выпил, подняв тост «за Керсти». Позже, вечером, он вернулся к занимавшей его теме в третий раз.

— Знаешь, Уир, ты уж меня прости, что я снова об этом. Но я подумал еще и хочу самым серьезным образом просить тебя быть осторожнее. Это опасно, мой мальчик. Опасно не на шутку.

— Что опасно?

— Видишь, ты сам меня вынуждаешь называть вещи своими именами. Но пойми, как твой друг, я не могу стоять в стороне и равнодушно смотреть, как ты суешь голову в петлю. Ну,

подумай сам, — Фрэнк предостерегающе поднял зажженную сигару, — к чему это может привести?

— Что может привести? — упорствовал раздраженный Арчи в своей неловкой и заведомо обреченной на неудачу самозащите.

— Да эта история с прелестной скотницей. Или, если тебе так больше нравится, с мисс Кристиной Эллиот из Колдстейнслапа.

— Уверяю тебя, это твои фантазии, — не удержался Арчи. — Молодая леди выше всяких упреков, и ты совершенно не вправе упоминать в разговоре ее имя.

— Хорошо, я запомнил, — ответил Фрэнк. — Отныне она будет безымянна, безымянна и только безымянна. Приму также к сведению твое бесценное свидетельство относительно ее безупречности. Позволю себе одно только замечание человека здравомыслящего. Я готов согласиться, что она ангел, но, мой милый, признайся: разве она леди?

Это уже было выше сил Арчи.

— Прошу меня простить, — проговорил он, изо всех сил стараясь сдержать ярость, — но оттого, что ты втерся ко мне в доверие…

— Ну, ну, ну! — воскликнул Фрэнк. — К тебе в доверие? Ты был ал, что маков цвет, но нем, как могила. Какое уж тут доверие! Вот что я должен тебе сказать, Уир, и пойми, это касается твоей безопасности и твоего доброго имени, а значит, и моей чести как твоего друга. Ты говоришь, я втерся к тебе в доверие. Втерся — это очень мило. Но что я сделал? Я только сообразил то, что и само по себе было очевидно и что завтра с такой же легкостью сообразит весь приход, а через полмесяца — все графство, а потом и Черные Братцы — не стану называть точную дату, когда это произойдет, но денечек будет бурный. Короче говоря, твоя тайна — это секрет на весь свет. Позволь же мне как другу спросить: нравится тебе такая перспектива? В сущности, у тебя есть только два выхода, и, на мой взгляд, один другого неприятнее. Можешь ты себе представить, как ты объясняешься с Четырьмя Черными Братцами? А как ты приводишь пред очи папеньки прелестную скотницу в качестве будущей хозяйки Гермистона? Можешь? Я же, честно тебе скажу, не могу!

Арчи встал из-за стола.

— Я не желаю больше ничего об этом слышать! — произнес он срывающимся голосом.

Но Фрэнк снова поднял сигару.

— Ты только скажи мне одно: по-дружески я поступаю или не по-дружески?

— Вероятно, ты считаешь, что по-дружески, — ответил Арчи. — Это я вполне могу допустить и тем отдать должное чистоте твоих намерений. Но больше я об этом не желаю слышать ни слова. Я иду спать.

— Вот это правильно, Уир! — сердечно подхватил Фрэнк. — Ложись спать и подумай, о чем я тебе говорил. И смотри, не позабудь помолиться на сон грядущий! Я редко читаю людям мораль, это занятие не в моем вкусе, но уж когда приходится, то, что я говорю, не пустые слова.

И Арчи ушел спать, а Фрэнк еще с час просидел за столом, и удовлетворенная улыбка не сходила с его лица. Он не был особенно мстителен по натуре, но уж если месть сама давалась в руки, то следовало сделать ее почувствительнее. Рисуя себе теперешнее состояние души Арчи, он испытывал невыразимое удовольствие. Его радовало сознание своей силы. Арчи казался ему совсем маленьким мальчиком, которым он может помыкать как вздумает, или лошадью, которую он взнуздал и оседлал силой своего ума и которую может теперь гнать во весь опор: захочет, приведет первой к финишу, захочет, насмерть загонит. Его воля. И так он долго сидел, упиваясь подробностями хитрых планов, которые ему все равно лень было бы осуществить. Бедная щепка в волнах потока, он вкусил в ту ночь сладость всемогущества и,

точно бог, любовался сложными переплетениями интриги, в которых ему самому суждено было погибнуть еще до исхода лета.

ГЛАВА VIII. НОЧНАЯ ГОСТЬЯ

У Керсти было много причин горевать. Чем ближе подходит наша старость — особенно если мы женщины и приближение старости леденит нам душу страхом, — тем больше значит для нас разговор, становясь единственным голосом нашей души. Только в разговоре, лишенные других средств общения, можем мы облегчить груз накопившихся внутри нас чувств; только так, охваченные горькой, обидчивой старческой робостью, еще способны мы поддерживать связь с оживленным миром молодых, по-прежнему окружающим нас, но день ото дня как бы отодвигающимся и становящимся плоским, словно узоры на обоях. Разговоры — это последняя связь, последняя нить. Кончился разговор, замолк голос, не видно больше взволнованного лица слушателя — и снова погружается в одиночество больное сердце.

Керсти лишилась своего «сладостного часа вечернего», она не могла уже больше бродить с Арчи, пусть хоть в мечтах, по блаженным полям Елисейским, и для нее это было, как если бы вдруг весь мир лишился дара речи, тогда как Арчи даже не заметил этой маленькой перемены. Сознание этого приводило ее страстную и раздражительную натуру в настоящее бешенство. Грудь ее порой едва вмещала пылкое бурление страстей. Вот цена, которую с возрастом платишь за неуместную силу чувств. Для такого человека, как Керсти, это при всех обстоятельствах было неизбежно, но случаю было угодно, чтобы на ее долю подобные испытания выпали как раз тогда, когда общение с ее кумиром было ей особенно необходимо, когда ей столько нужно было ему сказать, столько спросить и когда она с трепетом понимала, что это не временно, что ее былым привилегиям, может быть, навсегда пришел конец. Ибо с ясновидением истинной любви она давно уже проникла в тайну, так долго остававшуюся недоступной для Фрэнка. Еще до того, как это свершилось, еще в тот воскресный вечер, когда все началось, она уже почувствовала, что на ее драгоценные права посягают, и тайный голос назвал ей имя посягательницы. С тех пор женские хитрости и случай, мелкие заметы и душевная чуткость принесли ей уверенность, не допускавшую и тени сомнения. С чувством справедливости, которому мог бы позавидовать сам лорд Гермистон, она в то утро в церкви беспристрастно оценила юную привлекательность младшей Керсти и с самоотверженностью своей страстной натуры смирилась перед судьбой. Она-то, конечно, хотела другого. В мечтах она видела Арчи, обвенчанного со статной, высокой и розовой красавицей с золотыми локонами, созданной ею в воображении по своему образу и подобию. Вот для кого она бы радостно усыпала розами брачное ложе. Ей хотелось плакать от обиды и разочарования. Но боги выразили свою волю; ей суждено было иное.

В ту ночь она без сна ворочалась в постели, одолеваемая противоречивыми мыслями. Надвигались грозные опасности, предстояла битва, исхода которой она ждала, замирая от ревности, сострадания, страха и попеременной преданности то одной, то другой стороне. То она чувствовала себя воплощенной в своей племяннице, то в Арчи. То глазами молодой девушки она видела юношу стоящим на коленях, слабея, слушала его вкрадчивые уговоры, трепетала от его властной ласки. А в следующее мгновение уже негодовала, что столь драгоценные дары судьбы выпали на долю какой-то пигалице-девчонке, да еще из ее родни, да еще носящей ее же имя, что было уже вовсе невыносимо, «девчонке, у которой никакого понятия в голове, и совершенной чернавке». Еще через минуту она дрожала от страха, как бы мольбы ее кумира не остались без ответа, истово веруя, что он, как венец природы, безоговорочно заслуживает триумфа; и вдруг под свежим наплывом верности своему полу и своей семье начинала дрожать за Керсти и за честь Эллиотов. И опять и опять возвращалась к мыслям о себе, о том, что кончилось время для ее сказок и историй, что настала пора сказать последнее «прости» жизни, свету и любви, что ей некуда податься, перед нею лишь мрачный тупик, и туда она должна забиться и там умереть. Что же, значит, она исчерпала свою жизнь до дна? Она, такая статная, такая красивая, с сердцем, свежим и юным, как у молодой девушки,

и сильным, как сама женственность? Этого не может быть. И между тем это так. Кровать вдруг сделалась ей жутче могилы, а ей предстояло еще лежать в ней долгие часы без сна, то негодуя, то трепеща, то смягчаясь, то снова воспламеняясь негодованием, покуда не настанет новый день и не возобновятся труды и заботы.

Вдруг она услыхала шаги на лестнице — его шаги; потом до нее донесся стук раскрываемого окна. Она села на кровати с яростно бьющимся сердцем. Он один у себя в комнате, и он не лег спать! Она может опять завести с ним, как прежде, упоительный ночной разговор. И с появлением этой надежды на счастье низменные материи бесследно исчезли из ее мыслей. Она поднялась — с ног до головы женщина, с ног до головы все лучшее, что есть в женщине: нежность, сострадание, ненависть к злу, верность женскому достоинству; и в то же время с ног до головы — вся слабость, присущая этому противоречивому полу, тайно лелеющая в глубине своего горячего сердца безмолвную надежду, в которой она скорее умерла бы, чем призналась даже самой себе. Она сорвала ночной чепец с головы, и прекрасные волосы рассыпались по ее плечам. Пробудилось неумирающее женское кокетство. Стоя перед зеркалом в тусклом свете ночника, она воздела к голове свои прекрасные нагие руки и пропустила пальцы сквозь золотую волну. Она всегда была высокого мнения о собственной красоте, тут скромность была несвойственна ее натуре; и теперь она стояла, молча любуясь своим отражением. «Сумасшедшая женщина!» — сказала она себе в ответ на невозникшую мысль, и, застыдившись, покраснела, как малое дитя. Торопливо подколов блестящие тяжелые пряди, торопливо набросив на плечи шаль, она с ночником в руке неслышно выскользнула за дверь. Постояла, прислушиваясь, как размеренно тикают внизу часы и как Фрэнк Иннис в столовой позвякивает графином о край стакана. Отвращение, яростное и внезапное, наполнило ее сердце. «У, пьяный мопс!» — подумала она и в следующее мгновение, осторожно постучав в дверь Арчи, услышала приглашение войти.

Арчи стоял и глядел в первозданную тьму за окном, там и сям пронизанную нелучащимся светом звезды, и всей грудью вдыхая сладкий запах вереска и весенней ночи, ища и, быть может, находя во всем этом успокоение для своей тоскующей души. Он обернулся, когда она вошла, она увидела бледное его лицо в раме черного окна.

— Это ты, Керсти? — удивился он. — Входи же!

— Да уж очень поздно, душа моя, — с притворным сомнением ответила Керсти.

— Нет, нет, что ты! Входи, если тебе пришла охота поболтать. Видит бог, у меня сна ни в одном глазу.

Она прошла с порога, села в кресло у туалетного стола, где горела яркая свеча, и поставила ночничок на пол у своих ног. Потому ли, что ночной наряд ее был в необычном беспорядке, или это волнение, теснившее ей грудь, так преобразило ее, точно прикосновением волшебной палочки, но она казалась сейчас юной, как вечно юные богини.

— Мистер Арчи, — начала она, — что это делается с вами?

— О чем это ты? — ответил Арчи и тут же покраснел и горько раскаялся, что пригласил ее войти.

— Ах, душа моя, нехорошо это! — воскликнула Керсти. — Грех утаивать правду от любящих глаз. Мистер Арчи, подумайте, подумайте хорошенько, пока еще не поздно. Не торопитесь отведать радостей жизни, они все придут к вам своим чередом, как приходят и зима и лето. Вы еще молоды, впереди у вас столько радостных лет. Не погубите свою жизнь в самом начале, как уже случалось с другими! Будьте терпеливы, меня всегда учили, что терпение — главное в жизни, будьте же терпеливы, и для вас еще настанут счастливые дни. Видит бог, для меня они так и не настали, и вот нет у меня ни мужа, ни ребенка, и я только досаждаю людям злым своим языком, и вам первому, мистер Арчи!

— Прости, но я не могу взять в толк, о чем ты говоришь, — сказал Арчи.

— Ну что ж. Я могу объяснить вам. Все дело в том, что я боюсь, боюсь за вас, душа моя. Помните, ваш отец — человек непреклонный, жнет, где не сеял, и собирает, где не терял. Легко ли, ведь вам придется глядеть в его суровое лицо, и не будет в нем милосердия! Вы словно легкий корабль над черной бездной морской, сейчас-то вы в тихой гавани, сидите у себя в спальне и ведете помаленьку разговор с вашей Керсти, а вот утром где вы будете, куда спрячетесь от страшной бури?

— Честное слово, Керсти, ты выражаешься очень красноречиво и загадочно, — заметил Арчи.

— Вы, может быть, думаете, душа моя, — совсем другим тоном продолжала Керсти, — что я не понимаю и не сочувствую? Думаете, я сама не была молодой? Давным-давно, когда я была совсем девчонкой, еще двадцати мне не сравнялось… — Керсти вздохнула и задумалась. — Свежая и молоденькая я была и на ногу легка, летала, точно пчелка на крылышках, — продолжала она. — Сами понимаете, я всегда была высокой и статной, и все у меня было на месте — хоть, может, и не мне говорить, — все, как полагается ладной, красивой женщине, которой богом назначено рожать детей, крепких и здоровеньких, — и как бы это было мне по сердцу! Но тогда я еще была молодая, и в глазах у меня светился огонь юности, и разве думала я, что буду вот так сидеть и рассказывать вам об этом, одинокая, никому не нужная старуха! Так вот, мистер Арчи, ухаживал тогда за мной один парень, как тому и положено быть от бога. До него многие другие говорили мне про любовь, но мне ни один не нравился. А этот умел так говорить, что птицы припархивали с окрестных холмов и пчелы летели к нему, забыв про медвяные болотные колокольчики. Ах, господи, как давно все это было! Скольких уж с тех пор нет в живых, скольких похоронили и позабыли, и сколько детей родилось, и выросло, да своими семьями обзавелось! С того времени леса, вновь насаженные, поднялись, и под развесистыми деревьями сидят и милуются влюбленные, и старинные имения с того времени перешли к новым владельцам, и войны начинались и оканчивались, и о новых войнах ползут все новые слухи. А я — все вот она, сижу, словно облезлая ворона на ветке, да вокруг поглядываю, да покаркиваю. Но неужто вы думаете, мистер Арчи, что я не помню всего, что было? Я тогда жила в доме моего отца и, странное дело, на свидания бегала как раз на Ведьмино Поле. Неужто же вы думаете, я не помню этих ясных летних дней, не помню, как кроваво-красный вереск тянулся на многие мили вдаль, как пересвистывались ржанки над болотом, а парень с девушкой целовались среди мхов? Неужто я не помню, как сладостно щемило мое сердце? Нет, мистер Арчи, я знаю, как это бывает, отлично знаю, как милость господня настигает двоих, когда они меньше всего о том помышляют, все равно как это было с апостолом Павлом, и гонит их об руку в страну, что подобна мечте, весь мир, все люди для бедной девушки — все равно, что легкие облака, а само небо — не более чем мякина на ветру, когда глаза возлюбленного смотрят на нее с любовью! Но потом Тэм умер — так было у меня, — пояснила Керсти. — Тэм умер, и я даже не была на его похоронах. Но пока он был со мной, я себя блюла. А она, бедняжка, разве сможет за себя постоять?

Глядя на Арчи блестящими от непролитых слез глазами, Керсти умоляюще протянула к нему руку; тусклое золото волос мерцало и лучилось вокруг ее прекрасной головы, подобно короне вечной юности; нежный румянец разлился по лицу. И Арчи был потрясен как ее красотой, так и ее печальной историей. Медленно отойдя от окна, он приблизился к ней, взял ее протянутую руку и поцеловал.

— Керсти, милая, — произнес он хрипло, — ты несправедливо судишь обо мне. Я только о ней и думаю, и я за все сокровища мира не причинил бы ей вреда.

— Э, дитя мое, это легко говорится! — воскликнула Керсти. — Но не так-то легко делается! Разве вы не знаете, что в такие минуты бог попускает нас ослепнуть и помрачиться рассудком и лишает нас власти над нашими поступками? Дитя мое! — обратилась к нему Керсти, все еще держа его руку. — Пожалейте бедняжку! Не обидьте ее, Арчи! И будьте, о, будьте благоразумны за двоих! Подумайте, какие опасности ей грозят! Я вот видела вас,

значит, могут увидеть и другие. Я видела вас однажды на Ведьмином Поле, на моем заветном месте, и сердце мое больно сжалось — со страху, ведь я дурной приметы испугалась, потому что не иначе, как проклято это место, — да и просто-напросто от зависти и тоски! Разве не странно, что вы избрали то же самое место? Да уж, — прибавила она задумчиво, — бедный старый мученик, что лежит там в земле, много чего повидал с тех пор, как глядел там в дула мушкетам, даже если до этого ничего в жизни не понимал.

— Клянусь честью, я ничем ее не обидел, — сказал Арчи. — Клянусь честью и спасением души, что никогда не сделаю ей ничего дурного. Я уже слышал такие речи. Может быть, я вел себя неразумно, Керсти, но ни в жестокости, ни в низости я не повинен и не буду повинен никогда.

— Вот он, мой мальчик! — сказала Керсти, поднимаясь. — Я знаю, что могу на вас положиться. И могу теперь с легким сердцем идти спать.

Но вдруг она словно в озарении увидела, как бесплодна одержанная ею победа. Арчи поклялся пощадить девушку, и он свою клятву исполнит; но кто поклянется пощадить Арчи? Чем все это кончится? Она заглянула через пропасть непреодолимых трудностей, но и там, по ту сторону, перед ней неотвратимо маячило каменное лицо Гермистона. И тогда ужас охватил ее. Что она сделала? Лицо ее, обращенное к Арчи, было трагической маской.

— Бог да смилуется над вами, Арчи, и надо мною тоже! Вот камень, на котором возвела я дом мой, — продолжала она, тяжело опустив ладонь ему на плечо. — Здесь я строила и вложила душу мою в постройку. И если теперь все рухнет, видит бог, мой мальчик, я этого не переживу! Простите сумасшедшей старухе, которая вас любит и которая знала вашу матушку. И во имя господа, бегите от неумеренных желаний, сожмите сердце свое обеими руками и несите так, осторожно и пониже к земле, не дайте ему взмыть, точно детскому змею, туда, где буйствуют ветры. Жизнь, мистер Арчи, — только горести и обман, помните это, и конец, нам всем назначенный, — это грудка сырой земли.

— Милая Керсти, ты слишком уж многого от меня требуешь, — растроганно ответил Арчи. — Этого не мог бы тебе обещать ни один человек, разве что бог в небесах, если бы захотел, мог исполнить твою просьбу. Да и то как знать? А я, я могу лишь обещать тебе, что буду поступать так или эдак, и как сказал, так и сделаю. Но изменить мои чувства — это уже давно не в моей власти!

Мгновение они стояли друг против друга. По лицу Арчи блуждало подобие жалкой улыбки, лицо Керсти исказила гримаса боли.

— Обещайте мне одно! — воскликнула она срывающимся голосом. — Обещайте, что не сделаете ничего и никогда, не открывшись мне!

— Нет, Керсти, этого я не могу обещать, — ответил он. — Видит бог, я и так обещал достаточно.

— Да снизойдет на вас благословение божие, душа моя! — сказала она.

— Бог да благословит и тебя, мой добрый друг! — отозвался он.

ГЛАВА IX. НА МОГИЛЕ ТКАЧА-БОГОМОЛЬЦА

Близился вечер, когда Арчи кружной тропинкой подходил к могиле Ткача-Богомольца. Тени покрывали Ведьмино Поле. Но через Колдстейнслапский Проход солнце еще посылало последние стрелы, и они летели далеко и отлого над самыми мшаниками, зажигая по пути здесь кочку, там пук травы, и достигали под конец могильного камня и сидящей на нем тоненькой фигурки. Одиночество, безлюдие вересковой пустоши как бы сходились со всех сторон сюда, где живым солнечным лучом светилась единственная обитательница этой пустыни — Керсти. Такой она предстала издалека его взору — щемяще грустной, точно образ мира, из которого вот-вот исчезнут последний свет, утешение, жизнь. Но в следующую минуту она обернулась к нему, и улыбка вдруг осветила ее лицо, и вся природа улыбнулась ему в этой

ласковой улыбке привета. Медленные шаги его вдруг участились, ноги сами спешили к ней, хотя тяжелое сердце хотело оттянуть встречу. А девушка на могильном камне переменила позу, выпрямилась и медленно встала, вся — ожидание, вся — томление, с белым, как снег, лицом; руки ее дрожали, готовые раскрыться в объятии, душа замирала, поднявшись на цыпочки. Но он обманул это ожидание. Он остановился в нескольких шагах и, такой же бледный, как она, предупреждающим жестом поднял руку:

— Нет, Кристина. Сегодня я должен поговорить с вами серьезно. Сядьте, прошу вас, там, где вы сидели. Прошу вас, — повторил он.

В душе у Кристины все перевернулось. Дожидаться его все эти томительные часы, повторяя про себя нежные слова, которые она ему скажет, заметить его наконец, спешащего к ней, замирая, шагнуть навстречу, не дыша, без воли, без сил, уже всецело в его власти, — и вдруг увидеть перед собой бездушное, суровое лицо школьного наставника, — это был слишком уж жестокий удар. Она чуть не разрыдалась, но ее удержала гордость. Медленно и понуро опустилась она на камень, с которого только что вскочила, отчасти по привычке к послушанию, отчасти как бы от толчка его поднятой руки. Что случилось? Почему она отвергнута? Или, может быть, ее больше не любят? Она предлагала ему все, чем она богата, он же не пожелал взять ничего! Да, она принадлежит ему, у него нет права ее отталкивать! В ее горячем, нетерпеливом сердце, мгновение назад пылавшем сладостным предчувствием, теперь боролись уязвленная гордость и оскорбленная любовь. Но вместо возлюбленного перед ней был школьный наставник, живущий во всех мужчинах, к отчаянию всех девушек и многих женщин. Арчи провел ночь за выслушиванием проповедей и провел день в размышлениях, и он явился к ней, проникнувшись готовностью исполнить свой долг; а ей эти плотно сомкнутые губы, свидетельствовавшие лишь об огромном напряжении воли, говорили об охлаждении в любви. И эти губы, и сдавленный голос, и затрудненная речь. А если так, если все кончено… — мысль эта причиняла такую боль, что не было силы додумать ее до конца.

Арчи стоял перед нею на некотором расстоянии.

— Это зашло слишком далеко, Керсти. Мы напрасно так часто видимся. — Керсти быстро подняла на него страдальческие глаза. — Такие тайные встречи никогда не приводят к добру. Поступать так — нехорошо, нечестно. Мне следовало это знать. Люди стали говорить о нас, и я просто не имею права этого допустить. Вы меня понимаете?

— Я понимаю только одно: с вами кто-то говорил про нас, — подавленно отвечала Керсти.

— Да, и не один человек, — подтвердил Арчи.

— Кто же это? — спросила она. — И что же это за любовь, которая идет на попятный, стоит только людям заговорить? А, по-вашему, со мной не говорили?

— Вот как! — воскликнул Арчи. — Этого-то я и опасался! Кто же? Кто осмелился?..

Арчи едва сдержал гнев.

На самом-то деле с Кристиной никто ни о чем не разговаривал, и в страхе, что он поймает ее на лжи, она в сердцах повторила свой первый вопрос.

— Ах, да не все ли равно! — отвечал Арчи. — Просто хорошие люди, которые и вам и мне желают добра. Главное не в этом, а в том, что пошли разговоры. Поверьте мне, мы должны быть благоразумны. Неправильно будет, если мы загубим наши жизни в самом начале, когда жить еще, быть может, предстоит так долго и мы могли бы еще быть счастливы, только нужно об этом позаботиться, Керсти, как разумным людям, а не вести себя, точно несмышленые дети. И прежде всего нужно позаботиться об одном. Ради вас, Керсти, можно и подождать, я готов ждать хоть тысячу лет, награда того стоит! — Здесь он спохватился, и школьный наставник в нем весьма неразумно высказал одно разумное соображение:

— Прежде всего нужно позаботиться, чтобы никакие разговоры не дошли до моего отца. Иначе все погибло! Неужели вы не понимаете?

Керсти немножко оттаяла: в последних словах Арчи вновь прозвучало неподдельное чувство. Но обида не прошла. Испытав боль, она слепо стремилась теперь причинить боль и ему.

Кроме того, сейчас было произнесено слово, которое она все время боялась услышать из его уст: его отец! Невозможно предположить, чтобы в течение стольких дней, признавшись друг другу в любви, они не заводили речи о своем совместном будущем. Разумеется, они не раз касались этой темы, и она с самого начала оказалась больным местом. Керсти упрямо закрывала глаза и не желала ни о чем думать даже наедине с самой собой; бесстрашное сердечко, она послушалась голоса своей любви как трубного гласа судьбы и по этому зову шагала без оглядки вперед, навстречу тому, что ей суждено. Но Арчи со свойственным мужчине чувством ответственности не мог жить, не размышляя, не мог не думать о будущем, когда для Керсти существовало только настоящее, не мог не говорить, и притом иногда достаточно неловко, о том, что ждало их впереди. Не раз и не два он заговаривал о женитьбе, и всякий раз при мысли о лорде Гермистоне комкал начатую фразу. А Керсти на лету ловила и понимала его невысказанные мысли и так же быстро подавляла в себе это понимание; она сразу же вспыхивала надеждой, одинаково сладостной и для ее тщеславия и для ее любви, надеждой, что в один прекрасный день ей предстоит стать миссис Уир из Гермистона; и тут же улавливала в его сбивчивых, недоговоренных речах смертный приговор этим ожиданиям; и все же, упорствуя в своем великодушном безумстве, не отступалась, бедняжка, и шла прежним путем и знать ничего не желала о будущем. Но эти недосказанные слова, эти неловкие паузы, во время которых говорило его сердце, а рассудок и память спешили наложить запрет еще до того, как слово будет произнесено, причиняли ей невыразимую муку. Ее словно высоко поднимали и тут же швыряли оземь, разбивая в кровь. На краткий миг ей опять и опять открывалось то, чего видеть она ни за что не хотела, и в душе оставалось ощущение горькой обиды. Поэтому теперь при одном только упоминании о его отце, чья зловещая фигура, в парике, с иронической усмешкой на губах, незримо, но неотступно присутствовала при каждом их тайном свидании, она стремительно обратилась в бегство.

— Вы так и не ответили мне, — повторила она, — кто это говорил с вами,

— Ваша тетка, например.

— Тетя Керсти! — воскликнула Кристина. — Что мне за дело до тети Керсти?

— Зато ей есть дело до племянницы, — с мягким укором сказал Арчи.

— Как же! Почему только я раньше этого не замечала?

— И вообще важно, не кто эти люди, важно, что они говорили, что они заметили, — трезво продолжал школьный наставник. — Именно это должно нас беспокоить.

— Ну, конечно! Тетя Керсти, злая, сварливая старая дева, которая сеяла свары в здешних местах, еще когда меня на свете не было, и будет, наверное, по-прежнему ссорить всех со всеми, когда я умру! Да ее хлебом не корми, дай пустить сплетню! Она без этого жить не может, как овца без травы!

— Простите, Керсти, но она не единственная, — возразил Арчи. — Я получил вчера два предостережения, выслушал два урока, и тот и другой от доброго сердца, от самого дружеского участия. Будь вы при этом, уверяю вас, вы бы не удержались от слез! И они раскрыли мне глаза. Я понял, что мы ведем себя неправильно.

— А кто же второй?

К этому времени Арчи совсем утратил почву под ногами. Он пришел на свидание, исполненный твердой решимости, готовясь несколькими холодными, трезвыми словами начертать перед нею разумный для них обоих путь. Но минуты бежали, а он все еще бродил вокруг да около и сам же подвергался суровому, пристрастному допросу.

— Ах, мистер Фрэнк! — воскликнула она. — Этого еще только не хватало!

— Он был очень добр и справедлив.

— А что же именно он сказал?

— Я не намерен вам ничего повторять, к вам это не имеет отношения! — воскликнул Арчи, вдруг спохватившись, что и так уже сказал много лишнего.

— О, вот как? Ко мне это не имеет отношения! — Керсти вскочила на ноги. — Всякий в Гермистоне может болтать обо мне сколько хочет, а ко мне это не имеет отношения! Что же это у вас было, вроде семейной молитвы? И управляющего пригласили? Не удивительно, что пошли разговоры, раз вы посвящаете во все каждого встречного и поперечного! Но как вы совершенно справедливо, участливо, тонко изволили заметить, мистер Уир, все это не имеет ко мне ни малейшего отношения! А теперь, я думаю, мне самая пора уйти. Пожелаю вам всего наилучшего, мистер Уир!

И Керсти сделала ему величественный реверанс, хотя с ног до головы ее била дрожь бесплодного упоения гневом.

Бедный Арчи был совсем ошеломлен. Она успела отойти, прежде чем он вновь обрел дар речи.

— Керсти! — крикнул он. — Да Керсти же!

И в голосе его прозвучали такое искреннее изумление, такая мольба, что было очевидно: школьный наставник больше не существует.

Она обернулась.

— Что Керсти? — откликнулась она. — Что вам от меня нужно? Ступайте к вашим друзьям и кричите на них, если хотите.

Но он мог только повторить свой зов:

— О Керсти!

— Никакая я вам не Керсти! — отвечала девушка, и глаза ее горели, как уголья, на бледном лице. — Меня зовут мисс Кристина Эллиот, если хотите знать, и не смейте называть меня иначе! Пусть я не заслуживаю любви, но я требую уважительного обращения, мистер Уир! Я из почтенной семьи и неуважения не потерплю. Что я такого сделала, чтобы дать вам право так обращаться со мною? Что я сделала? Что я сделала? О, что я такого сделала? — Голос ее зазвенел и сорвался. — Я думала… я думала… я думала, я так счастлива! — И первое рыдание потрясло ее, как приступ жестокой лихорадки.

Арчи подбежал к ней. Он обнял бедняжку и прижал к себе, и она прильнула к его груди, как дитя к груди матери, и обхватила его руками, крепкими, словно тиски. Он чувствовал, как она вздрагивает от горьких рыданий, и ему было невыразимо жаль ее. Жаль и в то же время страшно этой опасной огнестрельной машины, механизма которой он не понимал, а между тем держал ее в руках. Пелена отрочества вдруг спала у него с глаз, и он впервые отчетливо увидел противоречивое лицо женщины. Тщетно, перебирая в памяти свой разговор с нею, он пытался найти сделанный промах, нанесенную им обиду. Ее вспышка оставалась необъяснимой, то была словно злая гримаса природы…

«УИР ГЕРМИСТОН»

«Уир Гермистон» остался незаконченным. О том, как думал Стивенсон продолжать роман, известно со слов его приемной дочери Айсобель Стронг («Бель»), выполнявшей в течение последних лет жизни писателя обязанности его литературного секретаря.

Повествование оборвалось в напряженный момент: решительное объяснение между Арчи Уиром и Керсти Эллиот… В дальнейшем, рассказывала Айсобель Стронг, Арчи должен был вопреки чувству, но в согласии с рассудком оставить свою любовь. Жениться на Керсти он не мог: лорд Гермистон никогда не допустил бы этого, и так же не способен был Арчи подвергать риску репутацию девушки. Между тем его ветреный приятель Фрэнк Иннис не только не смутился, но и воспользовался последним обстоятельством: он обольстил Керсти,

подавленную, не владеющую собой. Ее тетка, Керсти-старшая, догадалась о случившемся и открыла все Арчи. На поединке тот убил Фрэнка. Однако клеймо «обольстителя» держалось на Арчи. Братья Керсти готовятся ему мстить. От семейного самосуда молодого Уира избавило государственное возмездие: его арестовывают как убийцу. И тут действие романа должно было достигнуть наивысшей точки: Арчи на скамье подсудимых, его жизнь в руках лорда Гермистона, верховного судьи, неукоснительного стража законов, беспощадного «вешателя» и… его отца!

Стивенсона глубоко занимала эта ситуация. «Судья вынес прежде нескольким людям высший приговор. И вот в силу определенных свидетельств тяжелое обвинение выдвигается против сына самого судьи», — так намечал Стивенсон центральную сцену романа в письме к Чарлзу Бакстеру, своему другу и душеприказчику (декабрь, 1892). Выношенная, продуманная психологическая линия книги приходила, однако, в противоречие с фактической достоверностью: шотландское судопроизводство исключало столь драматическое положение — отец-судья вершит судьбу сына. Лорд Уир Гермистон мог лишь участвовать в процессе, но окончательного слова он был бы на этот раз лишен. Стивенсону же хотелось довести столкновение отца и сына до крайности. Он советовался с Бакстером, юристом по профессии, просил судебных документов и книг, прибегал к мнению других знатоков истории и закона. Кроме того, из окружного суда, где председательствовал верховный судья Гермистон, дело Арчи должно было поступить на рассмотрение лорда генерального судьи, а для этого процесс и вместе с ним действие романа пришлось бы перенести в Эдинбург. Это также оказывалось препятствием в развитии сюжета, как задумал его автор.

Последняя книга стоила Стивенсону больших трудов и сомнений. Он вкладывал в нее необычайно много надежд и потому был особенно требователен к самому себе. В том же письме к Бакстеру говорится: «У меня сейчас на столе роман, который будет озаглавлен „Верховный судья‟. Роман весьма шотландский, главный герой взят с Браксфилда (да, кстати, пришли мне „Мемуары‟ Кокберна), и все повествование, надо сказать, очень своеобразно. Героиня подвергается бесчестью от некоего человека, а потом бежит с другим, который пристрелил первого… Имей в виду, я надеюсь, что „Верховный судья‟ станет моим лучшим произведением. Браксфилд уже получился у меня прекрасен и вечен, ибо он и должен стать самым сильным из моих персонажей».[note 7]

Браксфилд, точнее лорд Браксфилд, о котором говорится у Стивенсона и который послужил ему моделью для Уира Гермистона, лицо историческое и заметное. Его и называли «судья-вешатель». Роберт Маккуин (таково было имя Браксфилда до получения титула), сын шерифа из Ланарка, выдвинулся в пору англо-шотландских распрей 1745 года, когда он действовал умно и твердо в пользу английской короны. В 1788 году он был назначен лордом верховным судьей и в 1793 году вновь показал себя на сложном процессе человеком волевым и проницательным. Современники отдавали должное его даровитости, его силе, но все же посматривали на него с опаской и даже с некоторой брезгливостью. Кокберн, упомянутый Стивенсоном, оставил в своих «Мемуарах» выразительный портрет Браксфилда: могучий духом и телом, по внешности «здоровенный кузнец», он производил впечатление человека грубого и неотесанного, несмотря на университетское образование. Кокберн так и называет его «безграмотным», однако тут же подчеркивает в нем природный ум.

Стивенсон в самом деле довольно точно «списал» своего Гермистона с Браксфилда, повторив и суть его натуры и отдельные его черты и свойства: способность «просиживать за графином до зари и прямо из-за стола отправляться в суд, сохраняя ясную голову и твердую руку», его резкий язык и особый шотландский выговор. Однажды Браксфилду, упрямо державшемуся консервативных правил, заметили, что «сам Христос-спаситель был преобразователем». «За это его и казнили», — последовал ответ. «Давайте преступников, а

законы, чтобы отправить их на виселицу, найдутся!» — такова была его поговорка. Как видно, Браксфилд очень похож на Уира Гермистона, который своей будущей жене, спросившей, что произошло с неким подсудимым, без лишних слов отвечал: «Повешен, сударыня, повешен».

Судьба Гермистона, трагическое положение, в котором он очутился, были, однако, вымышлены Стивенсоном. Браксфилд жил иначе: был дважды женат, имел от первого брака двух сыновей и двух дочерей, и никогда его совесть не подвергалась такому страшному искушению, как произошло это с Уиром Гермистоном.

Что же будет делать Гермистон? Какое решение он примет? Смертный приговор. Арчи ждет казнь. «Ясно, именно так должны развиваться события», — признавал Стивенсон в письме к Дж. М. Барри, известному писателю (ноябрь, 1892). «Однако, — продолжал Стивенсон, — обратившись к моим второстепенным персонажам, я обнаружил среди них пять человек, которые могли бы, — а в каком-то смысле даже непременно должны были бы, — ворваться в тюрьму и попытаться спасти осужденного. Люди они толковые и крепкие, так что попытка эта вполне могла бы и удаться. Почему же в таком случае им не попробовать? Почему бы затем молодому Уиру вовсе не покинуть родину? И быть счастливым, если только он сможет со своей… Но нет, не стану выдавать своих секретов, своей героини». Кто же эти спасители Арчи? Братья Керсти; они узнали правду, они уверовали в невиновность Арчибальда Уира и решают его спасти. Люди столь же исконно-шотландской складки, как и тот, кто приговорил молодого человека к смерти, «черные братья» склонны действовать на свой лад и крайне решительно: взять тюрьму приступом. Тут на пути Стивенсона и вставали новые сюжетные трудности: если соблюдать верность судейским правилам, то окончательный приговор Арчи должен быть вынесен в Эдинбурге, а там «пиратский» приступ невозможен.

Вообще ход событий в «Уире Гермистоне» представлялся самому Стивенсону несколько надуманным, искусственным. «Сюжет не очень-то хорош, я боюсь», — писал он земляку-шотландцу, жившему как раз в тех местах, где развертывалось действие романа. «Сюжет надломился под тяжестью характеров», — отмечал тогда же Г. Дж. Уэллс, наблюдавший, как английский роман, сосредоточивая все больше главный интерес на «характерах» и «проблемах», все меньше и хуже умещается в рамках традиционных «приключений». И эти слова вполне определяют трудности, возникшие перед Стивенсоном.

Все же, по свидетельству Айсобель Стронг, «последнего свидетеля Стивенсона», как ее называли, иного пути писатель не видел: четверо «черных братьев» спасают Арчи, и он, соединившись с Керсти, бежит в Америку. Поверженный духовно, лорд Гермистон умирает. Неясной оставалась судьба Кристины Эллиот-старшей. Во всяком случае, ее роль в романе становилась все более значительной.

Существует мнение, что первая половина, начало книг Стивенсона, как правило, сильнее конца. Даже в несравненном «Острове Сокровищ» чувствуется некоторое ослабление читательского интереса по мере того, как дело движется к развязке. Возможно, таковы вообще пределы приключенческого жанра, где таинственность всегда действует на воображение сильнее, чем раскрытие тайны. Временами, впрочем, Стивенсон просто спешил: так вышло с «Похищенным» и «Катрионой». Многие почитатели Стивенсона и не жалеют, что «Уир Гермистон» оказался оборванным. Писатель успел, по их мнению, создать лучшую часть романа и, в самом деле, едва ли не лучшие страницы своей прозы. Он органично соединил в этой книге «историю народа и семейное предание», он создал могучую и трагическую фигуру лорда Гермистона, возвышающуюся даже среди таких памятных его героев, как одноногий Сильвер, владетель Баллантрэ и мистер Хайд.

Д. Урнов

Note1

На вершинах закона (лат.)

Note2

в своем праве, полноправный (лат.)

Note3

Как жестокая тигрица (лат.)

Note4

Королем быть не могу, принцем не желаю (франц.) — слова, приписываемые главе герцогского дома Роганов

Note5

(Откуда) такой гнев? (лат.)

Note6

препятствую началу (лат.)

Note7

«Прекрасен и вечен» — тут Стивенсон, пользуясь первой и очень возвышенной строкой из поэмы Китса «Эндимион», хвалит свое создание, конечно, в шутку.
